

18+

Алексей Ракитин

Забутые страницы криминальной истории России

Книга 1



Алексей Ракитин

**Забывтые страницы криминальной
истории России. Книга 1**

«Издательские решения»

Ракитин А.

Забывшие страницы криминальной истории России. Книга 1 /
А. Ракитин — «Издательские решения»,

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Сборник очерков, посвященных малоизвестным
либо вообще неизвестным сюжетам отечественной криминальной истории
со времён императорской России и до начала XXI столетия. Помимо описания
следственного процесса, очерки интересны и бытописательным аспектом.
Сборник рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся как
отечественной историей вообще, так и историей права и уголовного сыска
в частности.

© Ракитин А.

© Издательские решения

Содержание

1844 год. Апокалипсис в Самаре	6
1850 год. Дело об убиении французской подданной Луизы Симон-Дюманш	12
1866 год. Дело студента Данилова	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Забывшие страницы криминальной истории России Книга 1

Алексей Ракитин

© Алексей Ракитин, 2026

ISBN 978-5-0070-1020-7 (т. 1)

ISBN 978-5-0070-1021-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1844 год. Апокалипсис в Самаре

Окидывая взглядом историю еретических христианских учений и нетрадиционных религиозных культов, нельзя отделаться от мысли, что все они стараются привить своим adeptам ощущение скорой и неотвратимой глобальной катастрофы. Их концепции в более или менее явной форме базируются на проповеди скорого конца света и призыва встречать неизбежный Апокалипсис разного рода организованными акциями. Уже на пороге XXI столетия подобные акции массового неповиновения устраивало украинское «Белое братство», а несколько ранее свой Апокалипсис газовой атакой в токийском метро отметила японская «Аум Сенрикё» [организация запрещена в России решением Верховного суда и решением Росфинмониторинга внесена в реестр террористов и экстремистов]. Можно сказать, что каждая современная тоталитарная секта имеет «свой Апокалипсис».

Между тем подобное изобилие «концов света» есть отнюдь не изобретение нашего суетного века. Разного рода страшные прогнозы и предсказания делались сектантами во все времена. Кому-то напророченный «конец света» давал богатую пищу страшным фантазиям и приводил к нервным срывам, другим же он предоставлял прекрасную возможность обогатиться. Надо сказать, что и в прежние столетия немало находилось проходимцев, умевших обернуть человеческое легкоеверие и наивность к собственной материальной выгоде.

В начале 1844 года многочисленная староверческая община города Самары пришла в заметное волнение. И было отчего! К великому удивлению сектантов их община неожиданно пополнилась новым священником, который много лет в тайне от остального мира проживал в секретных покоях купца Царицына. Священник именовал себя отцом Иеронимом. Он утверждал, что прежде был монахом в святых для староверов Иргизских скитах. После того, как в 1830 году скиты были уничтожены правительственными войсками, Иероним сумел скрыться от «государевой расправы» и на многие годы затворился в доме Царицына. Последний никому не рассказывал о том, что дал приют «святому человеку», так что члены общины даже не подозревали о существовании отца Иеронима. Почти четырнадцать лет «священник» просидел в комнате с замаскированным входом, пока, наконец, не надумал «выйти из затвора».

В этом месте необходимо сделать небольшое отступление, дабы стало понятно, почему некоторые слова и выражения в предыдущем абзаце взяты в кавычки. Самарские старообрядцы, о которых идёт речь, принадлежали к довольно многочисленному отряду так называемых «беглопоповцев». Своё название это течение получило за то, что принимало в свои ряды священников, покинувших традиционную Православную Церковь (то есть Церковь, принявшую никоновские реформы). Такие «беглые попы» являлись в старообрядческие приходы, предъявляли грамоты о рукоположении в сан и допускались к ведению служб и отправлению треб. Момент этот очень важен, поскольку подобная доверчивость позволяла разного рода проходимцам легко дурачить сектантов. Известно немало случаев, когда крестьяне, беглые каторжники, профессиональные мошенники предъявляли сектантам поддельные грамоты о рукоположении в сан и на протяжении многих лет «духовно окормляли» общину. Староверы традиционно были очень зажиточны, поэтому хитрый аферист мог на таком мошенничестве сколотить неплохой капитал.

Конечно, беглопоповцы принимали разного рода предосторожности к тому, чтобы ограбить себя от обмана: проверяли епископальную грамоту, посылали гонцов, дабы проверить детали «легенды» нового священника, устраивали ему экзамен на знание канонических текстов и тому подобное. Но, в принципе, если мошенник был достаточно умен, осторожен и хорошо подготовлен к своей миссии, разоблачить его было почти невозможно.

Если бы отец Иероним явился в Самару со стороны, его, конечно, стали бы должным образом проверять. Может быть, такая проверка и дала бы некий положительный результат

и избавила сектантов от последующих ошибок, но в данном случае её не последовало: купец Царицын принадлежал к влиятельнейшим членам общины, и его покровительство новому священнику избавило отца Иеронима от опасного любопытства паствы.

Благообразный 60-летний старичок оказался не простым священником, а наделённым «особыми дарами Духа Святого». С некоторых пор он открыл в себе «дар прозорливости» и с этого момента стал вовсю пророчествовать. Главным элементом его дивных рассказов был скорый и неминуемый конец света и связанные с ним события. Отец Иероним назубок знал «Апокалипсис» Иоанна Богослова и цитировал священный текст с любого места. Наделённый даром яркого образного слова, «священник» лихо живописал прихожанам и о трубящих всадниках, и о жутких знамениях, и о Страшном суде... По воскресеньям в подпольной церкви в доме Царицына отец Иероним произносил перед прихожанами свои страстные проповеди, повергая их ужасом описываемых картин в шок. «Святой человек» убеждал, будто все знамения, все признаки указывают на то, что конец света грядёт очень скоро. Публика трепетала, искренне каялась и продолжала трепетать далее.

Помимо регулярного озвучивания жутких апокалиптических прогнозов, отец Иероним изощрялся и более буднично: когда к нему обращались за каким-либо советом, он мог сразить человека в высшей степени неожиданным «откровением». То обещал матери скорое возвращение сына, только что отданного в рекрутчину, то вещал бесплодной женщине о предстоящем зачатии и прочее. В общем, отец Иероним умел поразить воображение людей, обращавшихся к нему по мелким житейским вопросам. Правда, когда через три месяца в подвигах «святого отца» начала разбираться самарская полиция, быстро выяснилось, что никаких сбывшихся пророчеств сектантский священник так и не огласил: бесплодные так и остались бесплодными, а нищие — нищими. Тем не менее слава о дивном прозорливце пошла по поволжским городам, точно круги по воде: живет, дескать, в Самаре такой святой человек, пророчествует — как в воду глядит, всё сбывается!

Очень быстро вокруг отца Иеронима сложился кружок доверенных прихожан. Нетрудно догадаться, что в этот почётный орган управления общиной попали самые зажиточные самарские сектанты — купцы Кузнецов, Шепелев, Хворостянский. С привлечением этих людей на свою сторону отец Иероним фактически узурпировал управление общиной: теперь никакая оппозиция ему уже не угрожала.

В конце февраля 1844 года на одной из своих проповедей отец Иероним озвучил неслыханное доселе пророчество. Он заявил, что «конец мира» грядёт с началом Пасхи, которая в том году приходилась на 26 марта (датировка здесь и далее приводится по старому стилю). В качестве доказательства своего пророчества «святой человек» приводил нумерологическую расшифровку 1844 года, которая, по его мнению, соответствовала «числу зверя» и указывал на то, что праздник Благовещения в том году в первый и последний раз «в истории мира» пришёлся на субботу. Последний нонсенс, как он считал, свидетельствовал о «безмерных винах погрязшего в блуде человечества» и являлся для всех истинных православных тайным знаком к тому, чтобы начинать готовиться к Апокалипсису.

В великой скорби разошлись после той проповеди прихожане, но одними только душевными муками дело не ограничилось. Ввиду скорой гибели и предстоящего Страшного суда каждому члену общины пришлось задуматься о том, с каким багажом он предстанет пред Богом. Староверы были зажиточны, а некоторых из них можно прямо считать богачами, так как же им было не вспомнить слова о «верблюде и игольном ушке»? К «святому человеку» обратились самые богатые прихожане и попросили объяснить: что же им делать со своими капиталами? Не моргнув глазом отец Иероним объяснил, что не будет спасения тому, кто «не обрядится в рубище нищего». Это означало, что имущество надлежало раздарить, а деньги — раздать, и сделать это следовало тайно, ибо милость, совершаемая напоказ — суть гордыня.

И началось неслыханное: в течение четырёх недель самарские купцы денно и нощно опорожняли собственные склады, хлева и амбары, продавая за бесценок (или раздавая бесплатно) все свои материальные ценности и продукты. Отец и сын Кузнецовы — крупнейшие торговцы кожами и текстилем — умудрились раздать товаров более чем на 120 тысяч рублей золотом, зерноторговец Хворостянский открыл свои склады и бесплатно выдал самарским обывателям 650 тонн муки! Староверы победнее занимались тем же самым, хотя, разумеется, в меньших объёмах; скота в каждом дворе осталось лишь по одной голове, птица была уничтожена почти полностью. В самом деле, до Пасхи староверы придерживались строгого поста, а после Пасхи должен будет наступить конец света, так что мясо в этой жизни в любом случае оказывалось совершенно ненужным!

Важно отметить, что если товары и продукты можно было раздать разным людям, не привлекая к себе особого внимания властей, то вот с наличными деньгами всё было не так просто. Купец, немотивированно раздающий большие суммы денег, явно поразил бы воображение всякого непосвящённого в его тайну человека. Поэтому отец Иероним мудро предложил все наличные деньги передавать ему, дабы он мог употребить их на разного рода «благочестивые и богоугодные дела». Прихожане были рады возможности избавиться от такой тяжёлой обузы, как значительные суммы наличных денег, а потому в карман отца Иеронима полился в буквальном смысле золотой поток.

«Святой человек» сделал распоряжения относительно того, как именно надлежит встречать Судный день. В пасхальную ночь всем «истинным православным» надлежало запереться в своих домах и, обрядившись в белые одежды, лечь в приготовленные для этого гробы. Апокалипсис, по версии «пророка», начнётся в тот момент, когда в церквах будет пропето «Христос воскрес!»; после этого ничего нельзя будет есть (ибо изменится суть вещей, и пища перестанет быть пищей), но можно будет пить воду.

За неделю до Пасхи отец Иероним несколько изменил это распоряжение. Он заявил, что вся молодёжь должна будет в пятницу покинуть дома и выйти к так называемому Коптеву оврагу, месту, расположенному примерно в 25 км от Самары. Там, оставаясь всё время под открытым небом, им надлежало распевать псалмы и ожидать прихода конца света. В староверческих домах могли оставаться только родители и самые младшие дети. Смысл этого странного на первый взгляд распоряжения станет ясен чуть позже.

Все пророчества «святого человека» сохранялись прихожанами в глубокой тайне. Самарская полиция ничего не знала о странных приготовлениях староверов. Более того, об этом ничего не знали и московские староверы, которые традиционно считались самыми истинными старообрядцами. За Рогожской заставой в Москве находились известные всей России Николаевский и Покрова Пресвятой Богородицы храмы, священники которых поддерживали связи со староверческими общинами всей страны. Тем не менее никто в Москве не знал ни о «святом человеке» отце Иерониме, ни о его удивительных пророчествах.

В пятницу вечером 24 марта 1844 года молодёжь из староверческих семей, числом более 40 человек, покинула свои дома и направилась к Коптеву оврагу. Там они остановились подле двух огромных камней, которые, почти смыкаясь над головой, образовывали своеобразный навес (интересно, сохранилось ли это место и поныне?). Никакого другого укрытия от непогоды эти люди не имели; фактически им предстояло дневать и ночевать под открытым небом.

Пасха, всегда отмечаемая православными с большим воодушевлением, в 1844 году в Самаре прошла как-то странно: многие жители отметили, что староверческий квартал был погружён во тьму и странно тих. Хотя в те годы Самара активно росла (через несколько лет она получила статус губернского города), конфессиональная принадлежность жителей не была большим секретом, и сами горожане прекрасно знали, кто из них старовер, кто иудей, а кто, к примеру, придерживается армянского христианства. Тот факт, что никто из известных всему городу старообрядцев не вышел после полуночи «похристосоваться» с соседями, был отмечен

многими и вызвал, конечно же, удивление. Удивление ещё более усилилось, когда никто из староверов не появился в городе поутру. К вечеру из-за закрытых наглухо ворот со староверческих дворов стал доноситься рёв и крик домашнего скота. Это могло означать только одно: животные стояли не кормлены.

В понедельник 27 марта 1844 года городские власти получили первую информацию о том, что в староверческом квартале происходит нечто странное. Это не вызвало поначалу никакой реакции (в силу понятной причины: власти, скорее, склонны реагировать на происшествия, нежели на их отсутствие). Квартальный надзиратель обошёл улицу, постучал в ворота, но поскольку ему никто не открыл, никаких попыток проникнуть внутрь не предпринял. После повторного обхода вечером 27 марта он отправился с докладом к полицмейстеру (начальнику городской полиции) Рудковскому. Тот весьма скептически отнёсся к полученному докладу и, руководствуясь тем мудрым житейским принципом, что утро вечера мудренее, решил ничего не предпринимать до следующего утра.

На следующий день полицмейстер лично отправился к староверам. Уже на подходе к их кварталу скепсис г-на Рудковского испарился: крик и рёв не кормленной и не поенной живности стоял неописуемый. Один из околоточных перелез через трёхметровый забор и отворил калитку перед начальником, так что полицмейстер был первым, ступившим на опустелый двор дома, принадлежавшего семье староверов Кузьминых.

К сожалению, начальник самарской полиции не оставил мемуаров, способных описать чувства, с которыми он вошёл в этот дом. Думается, Рудковский пережил не самые приятные ощущения, когда, поднявшись по крыльцу и миновав сени, очутился в тихой гостиной, посреди которой на сдвинутых столах стояли... два открытых гроба с человеческими телами. И полицмейстер, думается, совсем уж оторопел, когда лежащие в гробах люди зашевелились.

Оказалось, что супруги Кузьмины вовсе не мертвы. Они лежали в гробах, читая молитвы и ожидая прихода конца света, который по их расчётам уже вторые сутки двигался по России. Полицмейстер приказал лежащим в гробах встать; они отказались ему повиноваться и остались лежать на своих местах. На вопросы, обращённые к ним, Кузьмины не отвечали. Рудковский, преодолевая оторопь, вышел из дома, так и не добившись исполнения своего приказа; староверы лежали в чёрных гробах, шептали молитвы и игнорировали все распоряжения местной власти.

Полицмейстер кинулся в соседние дома — везде он видел одинаковую картину: ставни закрыты, шторы задёрнуты, гробы, обитые чёрным крепом и бархатом, открыты, а в гробах лежат живые люди. Картина шекспировская! Честное слово, если бы какой-либо режиссёр взялся реконструировать эти события, у зрителей зашевелились бы волосы от ужаса.

Никакого рационального объяснения происходящее не имело. Напомним, никто в Самаре не знал о существовании отца Иеронима, никто понятия не имел о сути сделанных им пророчеств. Происходящее с сектантами казалось немотивированным и совершенно непонятным, тем более что они сами никак не объясняли случившееся и ни с кем не шли на контакт. Рудковский обошёл остальные староверческие дома и везде увидел примерно одну и ту же картину; после сделанного обхода он помчался с докладом к градоначальнику.

О происходящем в Самаре немедленно были проинформированы губернские власти в Симбирске, а также епархиальное руководство. Вместе с тем было ясно, что местной администрации не приходится рассчитывать на помощь извне: возникшую проблему требовалось разрешить на месте. Ситуация осложнялась тем, что лежащие в гробах люди отказывались разговаривать с полицмейстером, а потому невозможно было понять, чего же они хотели добиться своим поведением. Очевидно было только то, что не менее полусотни взрослых и прежде разумных людей готовились к смерти.

Рудковский распорядился взять под прочный полицейский караул места проживания староверов; сделано это было в целях пресечения возможных актов мародёрства. Кроме того,

он начал розыски родственников потенциальных самоубийц, дабы с их помощью вступить с последними в переговоры. Быстро выяснилось, что из староверческих домов исчезла вся молодёжь, и это показалось очень подозрительным.

Впрочем, вопрос о том, куда исчезли молодые староверы, довольно быстро удалось прояснить. Крестьянин села Большой Колок по фамилии Коровин, проезжая по симбирскому тракту, видел странное скопление людей в Коптевом овраге. Он рассказал об этом в Самаре, и уже вечером 27 марта 1844 года полицмейстер обнаружил исчезнувших людей. Поскольку никто из них не хотел добровольно возвращаться в город, Рудковскому пришлось пригрозить применением силы и арестом; лишь присутствие значительного воинского караула побудило молодых староверов отправиться в Самару.

Общение полицмейстера с молодёжью дало властям, наконец, первую информацию о сути происходившего: стало известно о «святом человеке» Иерониме и его фантастических пророчествах. Разумеется, этого человека следовало допросить, да только оказалось, что никто не знал, куда он подевался. Дом купца Царицына, служивший пристанищем отцу Иерониму, подвергся обыску, который (как нетрудно догадаться) результатов не дал. Староверческий «святой» исчез.

Первую половину дня 28 марта полицмейстер потратил на обход староверческих домов в сопровождении отряда полиции. Под угрозой ареста он требовал от лежащих в гробах подняться и прекратить голодовку. На фанатиков сильнее, чем вооружённый конвой, действовало сообщение о бегстве их «духовного учителя». Без особых эксцессов староверы покончили с трёхдневной лёжкой и вернулись к нормальной жизни.

Произошедшее послужило серьёзной встряской для всех членов общины. Ведь они до того строго выдержали Великий пост, а по его окончании голодали трое суток! К счастью, никто от этих испытаний не умер. Когда постники, наконец, поняли, что мир, с которым они уже попрощались, не погиб, это вызвало у них неописуемый восторг: одни плакали, другие — шумно ликовали.

Помимо жестокого испытания здоровья и крепости душевных сил, случившееся явилось ощутимым ударом по благосостоянию членов староверческой общины. Все они фактически оказались на грани разорения, некоторые семьи не имели еды даже на самое ближайшее время.

Староверы дали точный словесный портрет отца Иеронима, благодаря чему уже через день он был схвачен. Скрывшийся из Самары мошенник продвигался в сторону Симбирска, его опознал один из конных патрулей, которые были выставлены на всех окрестных дорогах.

Доставленный на допрос «святой человек» не моргнув глазом заявил, что о грядущем Апокалипсисе ему сообщил ангел в конце февраля 1844 года. Сам отец Иероним якобы искренне поверил в скорый конец света, а потому умышленно вовсе никого не обманывал. Примечательно, что искренняя вера в скорую гибель мира отнюдь не помешала ему набить золотом собственные карманы: при обыске у «святого человека» оказались найдены почти пять тысяч рублей.

Личность свою этот человек так и не открыл. С определённой можно утверждать, что он вовсе не был ни священником, ни монахом. Приглашённый на его допрос настоятель местного собора обнаружил вопиющую некомпетентность «святого человека» во многих вопросах, связанных с православной обрядностью. При всём том арестованный обладал живой памятью, отлично знал текст Священного Писания и имел благообразную внешность — именно благодаря этим качествам он произвёл прекрасное впечатление на самарских старообрядцев. Хотя применение телесных наказаний в качестве пытки было запрещено, можно с большой долей уверенности предполагать, что «отца Иеронима» в самарском застенке порол; тем не менее он так и не назвал своего имени. Последовавшая проверка синодальных списков позволила в точности установить, что в Российской Империи не существовало рукоположённого в сан свя-

щенника с именем Иероним, который в период с 1825 по 1844 год оставил бы своё служение и перешёл бы к староверам.

Известно, что в дальнейшем его перевели в Симбирск, тогдашний губернский центр, и следствие по делу «о ложных пророчествах Апокалипсиса в Самаре» было продолжено там. Губернский суд признал «отца Иеронима» виновным в мошенничестве и осудил на 50 ударов кнутом и бессрочную ссылку в Сибирь. При исполнении телесного наказания присутствовала почти вся самарская община староверов; они рыдали и скорбели о преступнике, как об «истинном христовом мученике». Эти люди, однажды уже разорённые мошенником, вновь собрали для него немалые деньги — на этот раз в дорогу, в Сибирь.

Осуждённый едва не скончался во время порки. Он потерял сознание и был опущен с эшафота на руках. О дальнейшей судьбе этого человека ничего не известно; скорее всего, он скончался либо в Сибири, либо по дороге туда.

Никто из староверов слова худого не сказал о нём. Всепрощение пострадавших — самая поразительная часть этой криминальной истории.

Другая необыкновенная черта произошедшего — это доходящие до глупости простодушие и наивность староверческой паствы. Ведь именно доверчивость привела богатейших самарских купцов к разорению и позору. Послушать бредовые «пророчества» проходимца и своими руками раздать накопления всей жизни — это было неслыханно даже для тех лет! А ведь так поступил не один, не два человека — десятки... Немудрено, что сектанты на многие годы вперёд сделались посмешищем горожан, в среде которых само слово «старовер» сделалось синонимом слова «дурак».

1850 год. Дело об убиении французской подданной Луизы Симон-Дюманш

В девятом часу утра 8 ноября 1850 года Александр Васильевич Сухово-Кобылин, крупный помещик и известный представитель московского дворянства, приехал в Москву, в доходный дом графа Гудовича, имея намерение встретиться с квартировавшей там француженкой Луизой Дюманш (другие возможные написания фамилии — Диманш и Деманш). Однако встретившая его горничная ответила, что хозяйка ушла из дома накануне около 22:00 часов и до сих пор не вернулась.

Сухово-Кобылин, бывший любовником Дюманш на протяжении почти девяти лет, удивился её незапланированному отсутствию. Он послал нарочного в подмосковное село Хорошево, где жила близкая подруга Дюманш по фамилии Кибер. Оказалось, что Луиза вечером 7 ноября в Хорошево не появлялась. В течение дня 8 ноября Сухово-Кобылин несколько раз присылал своих людей в дом графа Гудовича, дабы осведомиться, не появилась ли Луиза. К вечеру, испытывая нарастающую тревогу за судьбу исчезнувшей женщины, он отправился в полицию. В Тверской части ему показали перечень происшествий в Москве за несколько последних суток с описанием пострадавших. К списку прилагался перечень неопознанных трупов в больничных моргах. Полицейские описания не соответствовали приметам исчезнувшей женщины, но это не успокоило Сухово-Кобылина. Поздно вечером 8 ноября он приехал в дом московского обер-полицмейстера Ивана Дмитриевича Лужина. Сухово-Кобылин имел намерение сделать заявление об исчезновении Луизы Дюманш и просить обер-полицмейстера должным образом организовать её розыск, но Лужина в тот момент дома не оказалось. Сухово-Кобылин отправился в Английский клуб, где имел обыкновение ужинать обер-полицмейстер, но и там последнего не нашёл. Оказалось, что начальник московской полиции в это время находился в Купеческом собрании. Сухово-Кобылин поехал туда.

Во всех этих разъездах его сопровождал зять Петрово-Соловово (он был женат на младшей сестре Александра Васильевича — Евдокии). Благодаря этому разговор Сухово-Кобылина с обер-полицмейстером происходил при свидетеле. Последнее, надо полагать, Сухово-Кобылин подстроил преднамеренно. Хотя, с одной стороны, его обращение к Лужину имело характер приватный, неофициальный, он все же явно хотел оставить объективные свидетельства подобного обращения. Обер-полицмейстер сразу почувствовал эту двойственность, что сказалось на характере беседы. Лужин держался подчёркнуто сухо и официально. Он заявил, что не видит оснований для беспокойства и предложил Сухово-Кобылину подать заявление о розыске пропавшего лица официальным образом и в рабочее время. Хотя оба они принадлежали к высшему московскому свету и были знакомы друг с другом, обер-полицмейстер недвусмысленно дал понять Сухово-Кобылину, что это в данном случае не имеет ни малейшего значения.

Уже после полуночи Сухово-Кобылин и Петрово-Соловово покинули Купеческое собрание. Александр Васильевич отвёз зятя домой, а сам отправился на квартиру Луизы, где и провёл ночь на 9 ноября 1850 года.

В половине шестого утра к нему приехал Петрово-Соловово, и мужчины опять поехали в дом обер-полицмейстера. Лужин, надо полагать, немало был обескуражен визитом вчерашних собеседников. Но на этот раз он разговаривал дружелюбнее, поскольку тревога Сухово-Кобылина выглядела теперь более обоснованно: Дюманш не ночевала дома уже две ночи, что действительно выглядело подозрительно. Лужин пообещал организовать розыск и пригласил к себе в кабинет квартального поручика Максимова. В присутствии обоих визитёров он отдал ему распоряжение организовать розыски Луизы Симон-Дюманш, а Сухово-Кобылин продиктовал полицейскому словесный портрет пропавшей женщины.

Так в общих чертах выглядит завязка одной из самых загадочных и драматичных историй дореволюционного сыска. Этот детективный сюжет по праву можно поставить в один ряд с такими известными и неоднозначными по своим результатам расследованиями, как следствия по делам Сары Беккер или Максименко. За миновавшие с той поры полтора столетия о деле Симон-Дюманш написаны книги, снят телефильм в нескольких сериях, но и поныне полной ясности о случившемся в ноябре 1850 года в Москве не имеет никто. В этом смысле «дело Симон-Дюманш», как никакое другое, заслуживает эпитета «загадочное».

Прошло всего несколько часов с того момента, когда ранние визитёры покинули квартиру обер-полицмейстера Лужина, и объявленный розыск принёс плоды. В 11:30 казак из состава 5-го Оренбургского полка по фамилии Петряков, совершавший объезд Ходынского поля, обнаружил возле самой дороги тело женщины. Насильственный характер её смерти практически не вызывал сомнений: на шее был виден разрез, а на снегу — следы крови. На место обнаружения тела прибыли пристав Пресненской полицейской части Н. А. Ильинский и квартальный надзиратель Овчаренко. В составленном протоколе осмотра места преступления (в те времена подобные документы назывались «местными свидетельствами») расположение найденного женского тела характеризовалось следующим образом: «В расстоянии от Пресненской заставы около 2,5 вёрст; от вала, коим обнесено Ваганьковское кладбище, на 3/4 версты и в трёх сажнях вправо от большой дороги [6,5 метров — прим. автора], ниц лицом, вдоль дороги [...]».

В этом весьма примечательном документе, подписанном тремя лицами, содержалось важное для следствия указание на незначительное кровотечение из раны покойной:» [...] [снег в том месте] где она [покойная] лежала, подтаял, и под самым горлом на снегу [обнаружена] в небольшом количестве кровь [...]» Учитывая, что ножевая рана нанесена в область шеи, подобное свидетельство следовало толковать однозначно — Ходынское поле не было местом совершения преступления, раны были нанесены в другом месте. Следы на снегу полностью подтверждали это предположение: прекрасно было видно, что одноконный возок, ехавший от Москвы, свернул с дороги, развернулся рядом с телом и поехал в обратную сторону. Следов человеческих ног рядом с телом не было. Скорее всего, тело мертвой либо агонизировавшей женщины было вывезено из Москвы и сброшено в поле. Преступники были уверены в том, что женщина не выживет, и их не особенно заботило сокрытие трупа (поэтому они и бросили тело рядом с дорогой). Заслуживал внимания тот факт, что на теле покойной были обнаружены драгоценности:» [...] в ушах золотые бриллиантовые серьги, на безымянном пальце левой руки два золотых супира [тонких перстня, обычно носимых на мизинце — прим. Алексея Ракитина] [...] один с бриллиантом, а другой с таковым же камнем, осыпанным розами, на безымянном же пальце правой руки золотое кольцо [...]». Объяснения этому были не такими очевидными, как могло бы показаться на первый взгляд.

То, что преступник оставил на теле жертвы драгоценности, могло быть истолковано как отсутствие корыстной подоплёки убийства. В этом случае мотивом убийства могли быть ненависть, ревность и тому подобное. Но состоятельные женщины XIX столетия носили порой на себе целые состояния, так что умный грабитель мог снять самые ценные вещи (но оставить менее ценные), дабы замаскировать факт ограбления и тем самым дезориентировать следствие. Поэтому грабёж как мотив убийства не следовало полностью отвергать на том только основании, что на теле погибшей остались драгоценные украшения. Погибшая была без «тёплого верхнего платья», но в трёх юбках и головном уборе. Этот момент тоже требовал объяснения. В ноябре 1850 года в центральной полосе России установилась настоящая зимняя погода; выпавший ещё в октябре снег лежал толстым слоем и не таял. Отсутствие при такой погоде зимнего жакета могло быть объяснено тем, что убийство было совершено в помещении. Конечно, можно было предположить, что преступник позарился на верхнюю одежду из-за её дороговизны (если, скажем, жакет или салоп был изготовлен из меха соболя), но ранения, причинён-

ные женщине, скорее всего, сделали бы подобное приобретение бесполезным, поскольку верхнее платье непременно оказалось бы залитым кровью.

На месте обнаружения тело было осмотрено врачом Пресненской частной больницы Тихомировым. В качестве очевидной причины смерти тот отметил глубокий разрез горла, помимо этого погибшая получила при жизни и иные телесные повреждения: багровое пятно на лбу и обширная гематома (размером с ладонь) вокруг левого глаза указывали на перенесённые побои.

Для более детального осмотра тело было доставлено в морг Пресненской больницы. Там 10 ноября 1850 года состоялось его официальное опознание. Александр Васильевич Сухово-Кобылин и его дворовые люди — Галактион Кузьмин и Игнат Макаров — заявили, что найденное на Ходынском поле женское тело принадлежит Луизе Симон-Дюманш.

Обер-полицмейстер И. Д. Лужин поручил расследование убийства Симон-Дюманш приставу Хотинскому.

Одной из перспективных версий явилось предположение о причастности к убийству Дюманш извозчика. В те далёкие времена извозчики играли роль весьма схожую с той, какую в настоящем исполняют таксисты; по роду своей деятельности эти люди постоянно сталкивались с маргинальными элементами и зачастую сами оказывались выходцами из их среды. Поскольку извозчики почитались людьми достаточно денежными, они нередко подвергались нападениям грабителей. Но при этом и сами они не брезговали разного рода противоправными деяниями: обобрать подвыпившего пассажира или ограбить иногороднего было для многих из них вполне обычным делом. История отечественного сыска того времени знает немало случаев, когда пассажиры оказывались жертвами своих возниц. Одинокая богато одетая женщина в поздний час вполне могла сделаться жертвой преступного посягательства лихого извозчика.

Поэтому одной из первых мер Хотинского явилось распоряжение об опросе московских извозчиков; в ходе этого опроса надлежало выяснить, кто из них мог после 22.00 часов 7 ноября находиться в районе Ходынки.

Помимо этого, следователь провёл официальный — в присутствии понятых — осмотр квартиры погибшей. В ходе него полицейскими были осмотрены не только жилые комнаты, занимаемые Симон-Дюманш, но и подсобные помещения, в которые она могла иметь доступ: погреб, каретный сарай и конюшня во дворе дома графа Гудовича. Полицейские пытались установить, не могло ли одно из этих помещений оказаться местом убийства женщины. Ничего подозрительного обнаружено не было. Тщательный осмотр личных вещей покойной показал, что отсутствует меховой салоп, который она носила в зимнее время. Наличных денег на квартире Дюманш не оказалось, но зато были найдены два векселя, выписанные Сухово-Кобылиным. Письма, книги, деловые бумаги и личная переписка покойной были изъяты и вывезены в полицейскую часть для изучения. Бриллиантовые и серебряные украшения были надлежащим образом описаны и опечатаны.

Во время этого обыска были опрошены слуги Дюманш (всего в услужении у француженки находились две женщины — Аграфена Кашкина и Пелагея Алексеева — и один мужчина, кучер Галактион Кузьмин; все они были крепостными Сухово-Кобылина). Показания прислуги, в целом согласные между собой, сводились к следующему: хозяйка в последний день своей жизни ушла из дома утром около 09:00. Весь день она пробыла в гостях у своей подруги француженки Эрнестины. В течение всего дня Симон-Дюманш возил кучер Галактион Кузьмин. Хозяйка вернулась домой около 21:00 и через час ушла, предупредив, что скоро вернётся. Боявшаяся пожара Дюманш, в частности, распорядилась не гасить в комнатах и в печи огонь, а подобное распоряжение она никогда бы не отдала, если бы планировала ночевать вне дома. По заверениям прислуги, хозяйка более домой не возвращалась. Галактион Кузьмин остался дома, поскольку ко времени ухода Дюманш возок уже был распряжён, и кучер был хозяйке более не нужен.

На тот момент показания прислуги не были запротоколированы; чтобы должным образом составить протоколы, дворовые люди были вызваны в полицейскую часть на следующий день.

Анатомическое исследование тела было произведено 11 ноября 1850 года штаб-лекарем Гульковским и доктором Тихомировым в морге Пресненской больницы. Были констатированы следующие телесные повреждения: перелом 7-го, 8-го и 10-го рёбер по левой стороне; раздробление 9-го ребра по левой стороне; по всему левому боку сплошная ярко-красная гематома; глубокий разрез шеи; вокруг левого глаза — опухоль размером с ладонь; багровое пятно на лбу без повреждения кости; на левой руке от локтя до плеча — обширная гематома; две ссадины на левом бедре, окружённые кровоподтёком величиной с ладонь; три ссадины на пояснице. Причина смерти определялась следующим образом: «Чрезмерное насилие, следствием чего явились помянутые повреждения». Выражаясь обыденным языком, погибшая была не просто зарезана — она была зверски избита, причём с использованием орудия наподобие кистеня (на это указывало раздробление 9-го ребра и перелом соседних рёбер). Следов сексуального насилия патологоанатомическое исследование не обнаружило. Покойная не была беременна.

Здесь необходимо сказать несколько слов о том, в каком состоянии находилось платье Дюманш. Был составлен отдельный акт, который описывал состояние одежды погибшей, но впоследствии он из дела исчез. О своеобразных коллизиях и метаморфозах, связанных с «делом Дюманш», будет сказано ещё немало, сейчас же следует заметить, что упомянутый документ сделан в определённый момент времени кому-то неудобен, и потому его устранили из дела. Однако можно с уверенностью утверждать, что подобный акт существовал, и о его содержании можно судить довольно определённо. Платье и юбки убитой были залиты кровью. По распределению этих пятен, заливших одежду спереди на всю длину, а сзади — в районе плеч и подмышек, можно было с уверенностью сказать, что наиболее опасное и кровавое ранение (ножом в горло) было нанесено в тот момент, когда Дюманш находилась в вертикальном положении. Кровь залила платье и юбки спереди во всю длину. Затем тело было уложено на спину, и кровь, продолжавшая обильно изливаться, затекала в подмышки и залила плечи. Убийство было очень кровавым и не подлежало сомнению, что его следы должны были остаться на месте совершения преступления.

Официальные допросы домашней прислуги покойной были проведены 11 ноября. Существенная часть сделанных слугами заявлений сводилась к следующему: кучер Галактион Кузьмин не являлся постоянным слугой Луизы Дюманш, а был прикреплен к ней лишь на время болезни пожилого Игната Макарова (Сухово-Кобылин несколько раз повторял на разные лады, что если бы Игнат оказался 7 ноября рядом с госпожой, то беды не произошло бы). Кузьмин подтвердил прежде сделанное заявление о том, как г-жа Дюманш провела последний день своей жизни: до 21:00 каталась по Москве со своей подругой Эрнестиной, после чего возвратилась домой. Более Кузьмин хозяйку не видел, поскольку остаток вечера занимался лошадьми и возком на конюшне, а когда вернулся в дом, хозяйка уже ушла.

Аграфена Кашкина заявила на допросе, что Луиза Дюманш неожиданно ушла из дома около 22:00 и приказала «свечей не гасить». Подобное распоряжение могло означать только то, что в самое ближайшее время она намеревалась возвратиться. По мнению Кашкиной, хозяйка могла пойти только в дом Сухово-Кобылина; до него было чуть более километра, и это расстояние можно было легко преодолеть за четверть часа. По словам Аграфены Кашкиной, утром следующего дня (то есть 8 ноября) появился незнакомый мужчина («высокого роста, с небольшими усами»), который пожелал видеть хозяйку. Услыхав, что Симон-Дюманш нет дома, он заволновался и воскликнул: «Ах, дело плохо!» Кашкина считала, что явившийся мужчина был от Эрнестины Ландерт, подруги Симон-Дюманш, но наверняка этого не знала.

Пелагея Алексеева, ещё одна служанка погибшей, в целом подтвердила рассказ Кашкиной, кроме той его части, где описывался визит незнакомца. Алексеева не присутствовала при этом разговоре и не видела загадочного визитёра.

Помимо упомянутых лиц, был допрошен и некий Ефим Егоров, формально не служивший у Симон-Дюманш, но ежедневно с нею встречавшийся. Егоров, несмотря на свою молодость (ему шёл 21-й год), был хорошим поваром и обслуживал как семью Сухово-Кобылина (с его матерью и сёстрами), так и Луизу Дюманш. Можно сказать, что это был «слуга двух господ». Жил Егоров в доме Сухово-Кобылина, но каждый вечер являлся к француженке и получал от неё распоряжения относительно меню на следующий день. Вечером 7 ноября он дожидался возвращения Дюманш с прогулки. По словам Егорова, француженка вручила ему записку для передачи Александру Васильевичу, которую, однако, повар не смог передать адресату по причине отсутствия Сухово-Кобылина дома.

Последнее сообщение позволило следователю Хотинскому предположить, что Луиза Дюманш, не дождавшись ответа любовника на своё послание, ушла из дома потому, что направилась к нему. Эта версия была самой достоверной из всех прочих. Разумеется, она нуждалась в проверке.

Завершая рассказ о первых допросах в рамках расследования Хотинского, следует обратить внимание на весьма немаловажную деталь: допросы прислуги, датированные 11 ноября 1850 года, не были подписаны допрошенными. Это очень странно, поскольку все они, кроме 50-летней Аграфены Кашкиной, были грамотны. Кроме того, в документах не содержалось указаний на то, что Ефим Егоров и Галактион Кузьмин были несовершеннолетними (то есть не достигшими 21 года), а это было уже серьёзное процессуальное нарушение.

Уже первоначальный сбор информации привлёк внимание полиции к персоне любовника погибшей, этого незаурядного во всех отношениях мужчины. Александр Васильевич Сухово-Кобылин родился 17 сентября 1817 года в семье, известной своими древними дворянскими корнями. Родственные узы связывали род Кобылиных с такими знатными фамилиями, как Шереметевы, Колычевы, царствующим домом Романовых.

Отец Александра Васильевича был полковником гвардейской конной артиллерии и за участие в битве под Лейпцигом был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. В составе авангарда русской армии он вступил в покорённый Париж 19 марта 1814 года. Мать Александра Васильевича была по национальности татарка. Возможно, именно это предопределило ту особую спесь, о которой не раз вспоминали люди, сталкивавшиеся с Сухово-Кобылиным. Вот как охарактеризовал эту черту характера барина в своих воспоминаниях его кучер П. Пименов: «К крестьянам относился жестоко. Шапку не снимет кто — изругает. За любую провинность — под суд. Русских особенно не любил» Сухово-Кобылин, несмотря на знатность рода, не чурался рукоприкладства в отношении бесправных мужиков — об этом тоже хорошо известно из воспоминаний современников.

Александр Васильевич являлся ярким представителем высшей российской знати: столбовым дворянином, крупным и небезуспешным предпринимателем, литератором. Сухово-Кобылин остался в истории отечественной культуры как автор довольно известных комедий «Смерть Тарелкина», «Свадьба Кречинского», «Дело». Он имел брата и трёх сестер, одна из которых впоследствии сделалась известной художницей. Даровитый юноша с золотой медалью окончил в 1838 году Московский университет и в тот же год отправился учиться в Гейдельберг, в Германию. Вплоть до 1843 года Сухово-Кобылин изучал философию в Гейдельбергском университете, перемежая лекции с поездками по Европе. В 1841 году в Париже он познакомился с симпатичной модисткой Луизой Симон-Дюманш, которая вскоре стала его любовницей. Француженка до такой степени увлекла Сухово-Кобылина, что тот решил вызвать её в Россию. Он прямо объяснил любовнице, что в силу сословных ограничений никогда не сможет на ней жениться, но пообещал Дюманш, что при любом исходе их отношений она сумеет заработать в России состояние.

В октябре 1842 года Луиза приехала в Россию; в начале 1843 года вернулся на Родину и Сухово-Кобылин, окончивший к тому моменту Гейдельберг. Молодой дворянин устроился

в канцелярию московского губернатора, но казённая служба его привлекала мало, и вскоре он попросил отпуск, который впоследствии неоднократно продлевал. Формально Сухово-Кобылин со службы не увольнялся, но фактически работой манкировал. Деятельный и предприимчивый молодой человек во второй половине 40-х годов XIX столетия активно занялся коммерцией: он основал винокуренный, свёклосохарный, спиртоочистительный заводы, а также первый в России завод шампанских вин.

Для розничной торговли своей продукцией Сухово-Кобылин открыл в Москве магазин, который возглавила Симон-Дюманш. Последняя официально зарегистрировалась как «московская купчиха», но от французского подданства не отказалась. Хотя Сухово-Кобылин не пил и не курил всю жизнь (в этом тоже проявилось влияние матери), он был завзятым картёжником; играл очень рассудочно, холодно, крупно выигрывал (например, у графини Антоновской выиграл дорогую подмосковную деревню Захлебовку).

Следователь Хотинский прекрасно понимал, что отношения Сухово-Кобылина с Симон-Дюманш, длившиеся с 1841 года, к осени 1850 года уже потеряли для партнёров свою пленительную новизну. 33-летний светский лев, богатый, образованный, родовитый был известным «ходоком» по женской части. Весь московский свет знал о французской любовнице Сухово-Кобылина, но это ничуть не мешало последнему вовсю блудить и пользоваться большим спросом как у семейных дам, так и незамужних девиц. Осенью 1850 года московское общество внимательно следило за тем, как развивался роман холостяка Сухово-Кобылина и жены крупного дворянина А. Г. Нарышкина — Надежды Ивановны (в девичестве Кнорринг). Молодая — 1825 года рождения — красивая светская львица отдавала Сухово-Кобылину явное предпочтение, и неудовольствие мужа не могло воспрепятствовать стремительному развитию любовной интриги. Зная всё это, можно было предположить, что Симон-Дюманш со своей стороны пыталась помешать светским игрищам своего любовника, а это уже могло спровоцировать обострение отношений. В любом случае, учитывая существование интимных отношений между погибшей и Сухово-Кобылиным, последний должен был быть проверен на возможную причастность к смерти Дюманш.

Поэтому 12 ноября 1850 года следователь Хотинский в сопровождении понятых прибыл для осмотра квартиры Сухово-Кобылина. Надо сказать, что семья Сухово-Кобылиных владела в Первом квартале Сретенской части Москвы большим домом с многочисленными надворными постройками. Александр Васильевич квартировал, однако, не в самом доме, а во флигеле, состоявшем из пяти небольших комнат. В этот флигель он переехал буквально за неделю до описываемых событий — 4 ноября.

Осмотр флигеля дал результат, на который, скорее всего, не рассчитывал и сам следователь: на стенах в сенях и в большой комнате были обнаружены многочисленные тёмные капли и крупные потёки, похожие на кровавые. Протокол осмотра, должным образом составленный в присутствии понятых, следующим образом характеризовал вид подозрительных пятен: «В комнате [...] на стене к сеням кровавые пятна, одно продолговатое на вершок длины [4,5 см] в виде распустившейся капли, другое величиной с пятикопеечную монету [5-копеечная монета образца 1833 года имела диаметр 3,7 см — прим. автора], разбрызганное; на штукатурке видны разной величины места, стёртые неизвестно чем, [...] полы во всех комнатах крашенные жёлтой краской и недавно вымытые».

Следы в сенях были описаны такими словами: «В сенях около двери кладовой видно на грязном полу около плинтуса кровавое пятно полукруглое величиною в четверть аршина [18 см], и к оному потоки и брызги кровавые, частью уже смытые, на ступенях заднего крыльца также видны разной величины пятна крови и частью стёртые или смытые [...]». Обнаружение пятен застало хозяина квартиры явно врасплох. Когда Сухово-Кобылина попросили объяснить их происхождение, он смог лишь заявить, будто пятна в сенях оставлены поваром, имевшим обыкновение резать там птицу. О том, как пятна могли появиться в комнате, Сухово-Кобылин

ничего вразумительного сказать не смог. Он был до того растерян от всего происходившего, что даже не смог сказать, кто и когда мыл полы в занимаемых им помещениях.

В конце концов он, правда, немного оправился от испуга и принялся уверять полицейских, что уборкой в его покоях занимается дворовая девка, дескать, она-то и вымыла недавно полы. Когда же полицейские вызвали её и попросили подтвердить рассказ хозяина, выяснилось, что всё сказанное Сухово-Кобылиным не соответствовало действительности: дворовая девка не убирала в его комнатах с 7 ноября. Между тем полы и штукатурка над плинтусами выглядели хорошо, и притом недавно, помытыми.

Всё это казалось в высшей степени настораживающим. Надо сказать, что подозрительных бурых пятен на стенах в сенях и в большой комнате было гораздо больше, чем это отражено в протоколе от 12 ноября. Когда через четыре дня — 16 ноября 1850 года — подозрительные фрагменты штукатурки и плинтусов были вырублены и доставлены для сохранения в полицейскую часть, оказалось, что их было ни много ни мало как 33! Причем, в остальных комнатах флигеля ничего подобного бурым пятнам обнаружено не было.

Надо ли удивляться, что следователь Хотинский после доклада по инстанции получил разрешение на официальный допрос Сухово-Кобылина и обыск его жилища (напомним, что 12 ноября состоялся только осмотр квартиры, в ходе которого полиция могла только визуально изучить обстановку, но не имела права изымать подозрительные предметы). И 16 ноября 1850 года приставы Хотинский и Редкин вновь появились во флигеле Александра Васильевича. В присутствии понятых подозрительные пятна были вырублены из плинтусов и штукатурки, а личная переписка Сухово-Кобылина опечатана и изъята для последующего ознакомления следователей. Всего были изъяты три стопы писем, написанных большей частью по-французски. По характеру почерков можно было предположить, что письма эти были написаны женщинами.

Фрагменты штукатурки, половиц и плинтусов с предположительно кровавыми следами были направлены в Медицинскую контору при городском правлении для исследования. Полицейских интересовала как природа пятен, так и их возраст.

Надо сразу сказать, что медицина ничем не смогла помочь следствию: в середине XIX столетия наука еще не могла различить кровь человека и животного¹.

Сухово-Кобылин был задержан по подозрению в убийстве Симон-Дюманш, доставлен в Городской частный дом (тогдашний аналог ГУВД) и там официально допрошен. На этом допросе Сухово-Кобылин не признал существования интимной связи между ним и погибшей, заявив, что их симпатия носила сугубо платонический характер. Тем не менее, ему сделать оговорку в том смысле, что «отношение его к ней были полны, как и прежде [то есть в Париже], любви и сердечной привязанности. [...] В любовной связи [он её] ни с кем не замечал и ни к кому не ревновал; она же весьма часто ревновала его».

Насчёт словосочетания «сердечная привязанность» у современного читателя не должно сложиться превратного впечатления: в контексте тогдашней лексики оно означало дружбу, но никак не любовные отношения. На протяжении всего расследования Сухово-Кобылин так и не признал того факта, что погибшая являлась его многолетней содержанкой. Даже когда ему прямо на это указывали полицейские чины, он уходил в глухое (и довольно тупое) запирательство, не признавая того, что было давно известно всей Москве.

¹ Проблема идентификации человеческой крови являлась одной из важнейших для судебной медицины на протяжении многих десятилетий. Лишь в самом конце XIX столетия молодой немецкий химик Пауль Уленгут разработал методику, позволявшую с высокой точностью отличать кровь человека от крови животного и органических красителей. Примечательно, что почти сразу же Уленгута привлекли в качестве эксперта к расследованию весьма запутанного «дела Тесснова» — маньяка, на протяжении ряда лет терроризировавшего население острова Рюген. Сложность этого расследования состояла в том, что Тесснов утверждал, будто найденная на его одежде и в доме кровь принадлежит овцам, которых он периодически резал. Несмотря на сильные подозрения, следствие никак не могло изобличить подозреваемого. Благодаря сенсационной экспертизе Уленгута, исследовавшего 29 следов крови на одежде и камнях, удалось доказать вину Тесснова. Вне всякого сомнения, открытие Пауля Уленгута, будь оно сделано полувеком ранее, очень помогло бы следствию по «делу Симон-Дюманш».

Подозреваемый заявил, что последний раз встречался с погибшей 6 ноября, то есть накануне её убийства. Встреча эта имела место на её квартире и прошла без свидетелей.

Сухово-Кобылин признал факт получения от погибшей записки вечером 7 ноября 1850 года («[...] возвратясь домой, нашёл у себя на туалетном столике полученную от неё весьма малую записочку, в которой она сообщала, что для расхода у неё осталось весьма мало денег [...]»). Из его объяснений следовало, будто записка эта была посвящена сугубо хозяйственным заботам, а потому оказалась малоценной. Между тем это противоречило рассказу повара Егорова, который утверждал, что хозяйка ждала немедленного ответа. Проверить правдивость показаний Сухово-Кобылина оказалось невозможным, поскольку упомянутая записка к моменту допроса была им уничтожена.

Как на весьма важный момент в допросе от 16 ноября следует указать на признание Сухово-Кобылиным материальных затруднений, которые он испытывал на протяжении последнего года. Торговля спиртными напитками в Москве оказалась убыточна, и в 1849 году он закрыл магазин, который возглавляла госпожа Симон. С этого времени она фактически находилась на полном содержании Сухово-Кобылина, не зарабатывая ни копейки, хотя этого подозреваемый тоже признать не захотел.

Разумеется, следствие чрезвычайно интересовало то, сколь богата была Симон-Дюманш. Сухово-Кобылин заявил следователю, что «полагает, что денежного состояния никакого не осталось, [поскольку] он же сам, по мере нужды, выдавал ей деньги [...]. Денежных обязательств им, Кобылиным, Симон-Дюманш ни в Париже, ни здесь никогда выдаваемо не было, да и быть не могло, ибо она сама всегда состояла, да и ныне состоит его должницей [...]». Заявление это чрезвычайно важно, и на него следует обратить особое внимание. Пройдет совсем немного времени, и Сухово-Кобылин начнет говорить нечто совсем иное...

И уж никак нельзя обойти вниманием то, как Сухово-Кобылин объяснил появление в его квартире подозрительных бурых пятен. Прямо скажем, объяснения его оказались весьма неуклюжи. Подозреваемый заявил, что тайная советница Жукова, прежде проживавшая в этих комнатах, ставила своим дочерям пиявки. Кроме того, его — Сухово-Кобылина — камердинер «подвержен кровотечению из носу, и потому немудрено, что живя в этой комнате и обёртываясь к стене, он и сам мог запачкать оную». Сознывая, очевидно, явную натянутость подобных объяснений, Сухово-Кобылин в конце концов признал, что «совершенно не может определить причины, по которой оные капли на стене оказались».

В целом показания Сухово-Кобылина следует признать маловразумительными и порой прямо нелогичными. В самом деле стоит задуматься над тем, в каких условиях жил этот весьма богатый человек: в прихожей его квартиры — лохань с помоями, там же повар периодически режет птицу; в его комнатах — старые обои и давно не штукатуренные потолки и стены. Финансовые потери Сухово-Кобылина от винной торговли не должны вводить читателя в заблуждение: в 1850 году он был очень богат. Только в подмосковных вотчинах Сухово-Кобылина работали более шести тысяч крепостных (в середине XIX столетия годовой оброк каждого из них был около 50 рублей серебром, так что можно представить себе размер получаемой ренты!). Помимо оброка, взимаемого с крепостных крестьян, Сухово-Кобылин получал доход от различных торговых предприятий: лесопилен, пасек и прочих. На Александра Васильевича были оформлены доверенности по управлению имуществом отца и дяди по материнской линии (Николая Ивановича Шепелева), а это были миллионные состояния. Александр Васильевич в то время изучал вопрос о вложении значительной суммы свободных денег и с этой целью, например, приискивал для покупки заводы на Урале. И этот богатый молодой человек, светский лев с миллионным состоянием почему-то занимает не отдельный особняк, не этаж в собственном доме, а жалкий флигель во дворе! Причём, во флигель он переезжает 4 ноября, а уже 7 погибает его любовница. И во флигеле при обыске обнаруживаются многочисленные пятна, подозрительно напоминающие кровавые! Очень странно, не правда ли?

Именно так рассуждал пристав Хотинский, подписывая ордер на арест Александра Васильевича Сухово-Кобылина (в те времена это называлось «постановлением о взятии под стражу»). Также были арестованы повар Ефим Егоров и камердинер Макар Лукьянов. Причиной ареста последних послужили противоречия их показаний заявлениям Сухово-Кобылина. Кроме того, камердинер Лукьянов вдруг вспомнил, что это именно он вымыл полы во флигеле 8 или 9 ноября. Почему-то во время первого опроса его полицией, произошедшего 12 ноября, он об этом ничего не сказал, а вот через четыре дня вдруг вспомнил, о чём и поспешил сообщить следователю. Подобное внезапное улучшение памяти тоже выглядело довольно подозрительным. Тем более, что 54-летний камердинер по роду своей службы вообще не должен был мыть полы...

Арест дворянина, да притом такого известного, как Сухово-Кобылин, наделал в Москве много шума. Но ещё более скандальным оказалось другое решение следователя — он обязал Надежду Ивановну Нарышкину (Кнорринг), любовницу Сухово-Кобылина, не покидать Москву и взял с неё подписку о невыезде. Замужняя женщина открыто подозревалась полицией в соучастии в убийстве — это ли не повод для светских сплетен! Нарышкина ещё в октябре подавала официальный запрос о выдаче ей паспорта для выезда за границу, и пристав Хотинский не без оснований заподозрил, что светская львица теперь просто-напросто скроется от правосудия.

То, что полиция заинтересовалась представителями высшей московской знати, вызвало повышенное внимание властей к расследованию. Военный генерал-губернатор граф А. Закревский 18 ноября 1850 года предписал учредить особую Следственную комиссию, которой надлежало взять расследование убийства Симон-Дюманш в свои руки.

В этом месте нельзя не упомянуть о том, что граф Арсений Андреевич Закревский в 1828—31 годах являлся министром внутренних дел Российской империи и свою склонность к полицейской работе сохранил на всю жизнь. Будучи московским военным генерал-губернатором (в период с 1848 по 1858 год), он по своему общественному статусу стоял много выше обер-полицмейстера Лужина, но тем не менее регулярно вмешивался в повседневную деятельность московской полиции. Закревский живо интересовался ходом расследования убийства Симон-Дюманш, и его фамилия ещё неоднократно будет упомянута в настоящем очерке.

Возглавил учреждённую графом комиссию управляющий секретным отделением при московском военном губернаторе коллежский советник Василий Шлыков. Высокий ранг этого чиновника отражал то внимание, которое отныне придавалось расследованию. Прежние полицейские следователи — Хотинский и Редкин — были включены в состав комиссии Шлыкова на правах рядовых её членов.

Первое распоряжение комиссии выглядело как-то несуразно. Вместо дотошного допроса Александра Васильевича Сухово-Кобылина, который логично было бы ожидать именно в эти дни, 19 ноября последовало довольно странное распоряжение о заточении повара Ефима Егорова в секретную комнату Серпуховского частного дома. «Частный дом» — это аналог современного СИЗО, в котором содержались лица, находившиеся под следствием. «Секретная комната» — это одиночная камера. Почему Егорова вдруг было решено заточить в одиночку, из материалов дела совершенно непонятно; формальной причиной послужила «сбивчивость его ответов и смущение его», вот только где, когда и кому Егоров отвечал — сбивчиво и смущаясь», из следственных материалов узнать нельзя. Конечно, в дальнейшем причина этой странной строгости получит своё объяснение, пока же просто обратим внимание читателей на это странное решение Шлыкова, тем более что за ним последовали воистину ещё более странные события.

Около полудня 20 ноября 1850 года Ефим Егоров заявил частному приставу Серпуховской полицейской части майору Ивану Фёдоровичу Стерлигову, что готов дать признательные показания об убийстве «французской купчихи Симон». Стерлигов, разумеется, показания

Егорова запротоколировал, причём не забыл дать протокол на подпись самому Егорову. После этого пристав известил о «важных показаниях» московского обер-полицмейстера Лужина, который не мешкая приехал в Серпуховскую часть. Егоров повторил свои признательные показания в присутствии генерала, который о том сделал приписку под протоколом, а сам документ забрал с собою.

И лишь на следующий день — 21 сентября — генерал-майор Лужин передал протокол в особую Следственную комиссию Шлыкову. Очень интересная цепочка, особенно в контексте того, что ни Стерлигов, ни Лужин не имели прямого отношения к Следственной комиссии и не должны были готовить для неё документы.

К чему же сводилось заявление, сделанное Ефимом Егоровым после суточного пребывания в одиночном заключении?

Он утверждал, что совершил убийство Луизы Симон-Дюманш, будучи в сговоре с её домашней прислугой. Непосредственно в убийстве ему помогал Галактион Кузьмин, а обе женщины — Пелагея Алексеева и Аграфена Иванова — оказали активное содействие в сокрытии следов преступления.

Убийство Дюманш произошло после двух часов ночи в её квартире в доме графа Гудовича на Тверской улице. Егоров же ночевал в доме Сухово-Кобылина и с вечера лёг спать вместе с остальными дворовыми людьми. После часа ночи он поднялся, тихонько оделся и никем не замеченный покинул барский дом. Пройдя пешком по ночной Москве 1,3 км, он около 02:00 ночи явился в дом Гудовича. В квартире Симон-Дюманш его ждали и дверь не запирали, поскольку об убийстве Егоров договорился с Кузьминым накануне.

Сам акт убийства описан Егоровым в таких выражениях:» [...] мы пошли в спальню Луизы Ивановны, она спала, лёжа на кровати навзничь, на столе по обыкновению горела в широком подсвечнике свеча, я прямо подошёл к кровати, держа в руках подушку Галактиона, которой, прямо накрыв ей лицо, прижал рот, она проснулась и стала вырываться, тогда я схватил её за горло и начал душить, ударив один раз кулаком по левому глазу, а Галактион между тем бил её по бокам утюгом, таким образом, когда мы увидели, что совсем убили Луизу Ивановну, то девки Пелагея и Аграфена одели её в платье и надели шляпку, а Галактион пошёл запрягать лошадь [...]».

А далее в протоколе последовал очень интересный пассаж, который также имеет смысл процитировать дословно:» [...] мы, никем не замеченные, выехали за Пресненскую заставу, за Ваганьковское кладбище, где в овраг свалили убитую, и, опасаясь, чтоб она не ожила на погибель нашу, я перерезал ей бывшим у Галактиона складным ножом горло, который тоже где-то недалеко бросили, окончив это дело, возвратились на квартиру Симон-Дюманш, где девки всё уже убрали, как надобно, чтоб отвлечь подозрение, мы сожгли в печке салоп Луизы Ивановны [...]».

В качестве мотива убийства Егоров назвал ненависть крепостных людей к француженке, перед которой трепетала вся прислуга; ненависть эта особенно усилилась в последнее время, поскольку» [...] перед смертью она сделалась ещё злее и капризнее [...]».

Признание Ефима Егорова выглядело на первый взгляд весьма добротным и достоверным. В целом обвиняемый довольно внятно изложил побудительный мотив убийства, надо сказать, весьма банальный для того времени, а также чётко объяснил происхождение основных повреждений на трупе: гематомы под глазом, разреза шеи, переломанных рёбер. То есть с точки зрения формального полицейского расследования документ получился весьма обстоятельный и пригодный для последующей «раскрутки». Вот только ряд существенных моментов заставляет серьёзно усомниться в том, что автор этого «признания» вообще представлял себе те обстоятельства, в которых признавался.

Во-первых, в этом первом — а потому самом точном (теоретически) — протоколе допроса Егорова ничего не говорится о домашней собачке Симон-Дюманш, которая имела

обыкновение ночевать в её спальне. Невозможно было войти в спальню, а тем более убить хозяйку, не вызвав истошного визга комнатного мопса по кличке Дуду. Особенностью квартиры Симон-Дюманш было то, что стены жилых комнат были совсем тонкими и не обеспечивали должной звукоизоляции. Соседнюю квартиру занимали польский студент князь Вильгельм Радзивилл и его слуги. Они официально были допрошены полицией и подтвердили прекрасную звукопроницаемость стен, при этом все они единогласно заявили, что ни 6 ноября, ни 7-го никаких подозрительных звуков из квартиры Симон-Дюманш не доносилось. Легко понять, что лай комнатной собачки около двух часов ночи, а также звуки последовавшей борьбы не могли остаться незамеченными соседями.

Во-вторых, совершенно непонятно, каким образом весьма молодой Егоров (ему тогда шел 21-й год) сумел добиться полного подчинения себе двух женщин, которые были гораздо старше. Напомним, Ивановой было 27 лет, а Алексеевой — 50. Между Егоровым и этими женщинами не существовало родственных связей, они не были связаны интимными отношениями (последнее абсолютно точно, поскольку в дальнейшем Егоров назвал фамилию и место проживания своей любовницы). Из заявления Егорова невозможно понять, почему служанки доверили свои судьбы молодому, и притом совсем чужому, мужчине. Даже если бы женщин не заподозрили в убийстве хозяйки, смерть Симон-Дюманш привела бы к тому, что их вернули бы в деревню к постылому сельскому прозябанию; между тем проживание в таком крупном городе, как Москва, было для этих женщин во всех смыслах несравненно предпочтительнее крестьянской работы.

В-третьих, в этом признании Егоров утверждает, будто тело зарезанной француженки было брошено в овраг. Между тем подобное заявление никак не соответствовало действительности: тело Симон-Дюманш было оставлено преступником буквально возле самой дороги, причём возок преступника объехал вокруг него, что и засвидетельствовал протокол осмотра места обнаружения тела, процитированный уже в этом очерке. Понятно, что если бы тело погибшей действительно было сброшено в овраг, рядом с ним возок никак не смог бы проехать. Происхождение этого «ляпа» имеет лишь одно объяснение: ни сам Егоров, ни пристав Стерлигов на месте обнаружения трупа Симон-Дюманш никогда не были, и составленный ими документ вымыслен от начала до конца. О причине этого вымысла придётся говорить в этом повествовании ещё не раз.

В-четвертых, в заявлении Ефима Егорова содержится ещё один весьма подозрительный и труднообъяснимый момент. Хотя до поры он кажется несущественным, тем не менее на него стоит обратить внимание именно сейчас, поскольку в дальнейшем он окажется весьма важен: Егоров утверждал, будто бы салоп убитой француженки был сожжён в печке при содействии служанок уже после того, как Егоров и Кузьмин избавились от тела и вернулись в дом. Процитированный фрагмент признательных показаний не оставляет никаких сомнений именно в такой последовательности событий.

Уже на следующий день Ефим Егоров был доставлен на допрос в Следственную комиссию. Там заседали люди, прекрасно осведомлённые обо всех нюансах расследования, и их интересовало уже не признание «вообще», а конкретные детали. Прежде всего, судьба пропавших вещей покойной. Речь шла о портмоне, часах, брошке и деньгах Симон-Дюманш в сумме около 50 рублей серебром. То, что преступник позарился на личные вещи убитой, представлялось вполне логичным — они стоили неплохих денег. Теперь важно было узнать, куда убийца их подевал. Если бы Егоров знал судьбу исчезнувших с места преступления вещей, то это лучше всего подтвердило бы его виновность в убийстве и доказало искренность сделанного им признания.

Но Егоров ничего не смог сказать о пропавших вещах. «Деньги им прогуляны», — записано в показаниях Егорова от 21 сентября 1850 года, — «кроме трёх рублей серебром, [которые] он дал Галактиону [Кузьмину]; портмоне, часы и брошку он, Егоров, кинул за Прес-

ненскую заставою, в поле, неподалёку от заставы [...]». Что-либо бессмысленнее придумать трудно! В самом деле, для чего брать вещи убитой, а затем выбрасывать их в поле? Имитировать ограбление? Но почему тогда на покойной оставались драгоценности, в которых её и нашли? Очевидная бессмыслица...

Тем не менее Следственная комиссия удовлетворилась полученным ответом. В тот день членов комиссии гораздо больше интересовали допросы остальных членов преступной группы. Все они предстали перед следователями и довольно подробно рассказали о том, как помогали Егорову убивать француженку Луизу Симон-Дюманш.

Галактион Кузьмин дал показания, в целом согласные с заявлением Егорова. Но в протоколе его допроса есть некоторые любопытные нюансы, которые следует подчеркнуть. Решение убить француженку, по словам Галактиона, оформилось спонтанно:» [...] 7-го числа ноября повар Ефим Егоров, придя к нему в конюшню, когда он откладывал лошадь, на которой каталась того числа Дюманш, сказал, что придёт к нему, то есть к Козьмину, ночью для убийства Дюманш. На что он сказал Егорову: «Приходи». Вот так, дескать, приду убить... ну что ж, приходи!

Кузьмин признал, что ворота на улицу были заперты на ночь и ему пришлось их открывать, чтобы вывезти возок с телом убитой из двора. Мелочь, казалось бы, но какая существенная! Дома и дворы того времени запирались на ночь дворниками, крупные улицы и въезды и город перекрывались шлагбаумами полицейских застав. Так что по ночной Москве того времени свободно было не проехать. Чтобы отвезти тело убитой француженки к тому месту, где оно было впоследствии обнаружено, Егорову и Кузьмину надлежало миновать две полицейские заставы. На каждой из них дежурили по полувзвода солдат из городской «инвалидной команды». («Инвалидные команды» того времени были аналогом нынешних внутренних войск, эти военизированные формирования комплектовались отслужившими солдатами и исполняли полицейские функции. Не следует думать, будто это были инвалиды в буквальном современном значении этого слова). Полицейские заставы выставлялись для поддержания общественного порядка, пресечения грабежей, а также для досмотра перевозимых в ночное время грузов. Это очень важный момент, на него следует обратить внимание. Впоследствии нам ещё придется вспомнить и о запертых на ночь воротах, и об упомянутых полицейских заставах.

Помимо этого, Галактион Кузьмин рассказал и о сожжении мехового салоп Луизы Дюманш: «Меховой же салоп её, Дюманш, сожгли они [убийцы — прим. автора] в голландской печке ещё до отвоза ими тела». Внимательное прочтение этого фрагмента протокола вскрывает его явное противоречие заявлению Ефима Егорова, который утверждал, что салоп был сожжён уже после возвращения в квартиру убитой. Этот интересный момент заслуживает того, чтобы на него сейчас обратить внимание.

Пелагея Алексеева, фигурировавшая в признаниях Егорова и Кузьмина как соучастница убийства, на допросе в Следственной комиссии 21 ноября 1850 года согласилась с возведённым на неё обвинением. Картина преступления, нарисованная Алексеевой, выглядела весьма похожей на ту, которая явствовалась из признаний её подельников. О зарождении заговора она рассказала такими словами:» [...] он [Ефим Егоров] взошёл в их кухню и сказал ей и Аграфене Ивановой, что в эту ночь он непременно хочет привести в исполнение своё желание убить Дюманш, о чем прежде им весьма часто рассказывал». Что и говорить, такое объяснение выглядело довольно формальным, но сыщиков оно, видимо, в тот момент вполне устроило.

А вот далее в показаниях Алексеевой возникла гораздо более серьёзная несуразность. И она оказалась связана с упоминавшимся уже меховым салопом:» [...] меховой салоп, принадлежавший Дюманш, по совету повара Ефима в то же время сожгли в печке. Спустя всего час Ефим с Галактионом приехали на той же лошади в квартиру Дюманш, но без тела её [...]».

Таким образом, слова Пелагеи Алексеевой вступили в прямое противоречие с тем, как рассказывал о сожжении салопа Галактион Кузьмин!

Интересно, не правда ли?

Но ещё более интересным оказывается четвёртый по счету протокол от 21 ноября — допрос Аграфены Ивановой. Из этого протокола можно заключить, что убийство Симон-Дюманш протекало не совсем так, как об этом рассказывали трое других подельников. Прежде всего, Аграфена Иванова оказалась единственным человеком, который вспомнил о том комнатном мопсе, который имел обыкновение ночевать в спальне хозяйки. Рассказ Ивановой о событиях той ночи дословно записан в протоколе так:

«[...] повар Ефим Егоров с рабочим Галактионом, войдя в комнаты, где жила Дюманш, и разбудивши её, Иванову, спросили, есть ли собака в комнате, где спала Дюманш. Она сказала, что только одна, и они велели её оттуда взять [у Егорова и Кузьмина об этом ни слова! — прим. автора]. И когда она вошла в спальню за собакою, то Дюманш проснулась и спросила: „Ты чего тут ходишь?“ На что она отвечала ей, что взять пришла собачку [...]. В это самое время повар Ефим с Галактионом вошли в комнату Дюманш — Ефим с подушкою в руках, а Галактион с утюгом — и начали бить Дюманш, которая два раза громко визгнула, и во время бития ими Дюманш они требовали у неё, Ивановой, платок, а когда она им таковой подала, то оный вбили в рот и продолжали бить и душить. Вскоре после сего Дюманш умерла».

Упоминание платка, который убийцы якобы затолкали в рот жертве, можно найти только в протоколе допроса Ивановой: сами убийцы ни о чём подобном не говорили. Но всего интереснее в показаниях Ивановой — это ещё одна, третья по счёту, версия сожжения мехового салопа Симон-Дюманш. Согласно протоколу допроса Аграфена рассказала об этом в таких выражениях:» [...] Ефим и Галактион вытащили её [убитую Симон-Дюманш] из комнат, положив в сани, и повезли: куда — ей неизвестно, а она, Иванова, стала убирать комнаты и спальню её; убравши всё, меховой салоп Дюманш сожгла по приказанию Ефима в голландской печке. По возвращении же Ефима и Галактиона в квартиру Галактион принёс две бутылки какого-то вина [...].» Таким образом, из показаний Аграфены Ивановой можно заключить, что салоп сжигала она лично, и притом в отсутствие обоих мужчин.

Почему такое внимание мы уделяем судьбе салопа? Да потому что такие расхождения, какие допущены в рассказах обвиняемых, возможны только в одном случае: когда никто из них салопа не сжигал. В самом деле, если Ефимов и Кузьмин действительно убили Симон-Дюманш, то почему они не надели на труп меховой салоп? Ведь были же надеты на труп три юбки, две рубашки, кольца, шляпка, даже серьги в ушах были застегнуты... Что мешало убийцам надеть на Симон-Дюманш и салоп? Для чего они его сжигали в печи?

Кстати, в те времена печи на ночь гасили, дабы часом не угореть. Потому дым, повалившийся посреди ночи из печной трубы, мог привлечь чьё-то внимание. Сжигать ночью салоп было неразумно. Куда проще было вывезти его из дома вместе с трупом.

Рационального объяснения всей этой истории с сожжением мехового салопа в том виде, как её излагали на допросах четверо обвиняемых, не существует.

Но между тем меховой салоп является своего рода ключом к тайне убийства Симон-Дюманш. Напомним, ноябрь 1850 года был уже вполне зимним месяцем, и Симон-Дюманш не могла выйти из дома без тёплой одежды. Одежда — нательные рубашки и юбки — были залиты кровью, которая обильно текла из раны на шее. В том случае, если в момент убийства Симон-Дюманш была в салопе, он непременно оказался бы залит кровью. И тогда бы для убийцы эта вещь оказалась никчёмной: ясно, что продать его будет невозможно, а хранить — опасно. В этом случае салоп был бы найден либо на трупе, либо поблизости от него. Но салоп не был найден. Значит, убийца похитил дорогостоящую вещь в целях поживы. Модный соболиный салоп, отделанный бисером и стразами, стоил целое состояние. А поскольку убийца на него

позарился, значит, следов крови на салопе не было, и потому можно с уверенностью утверждать, что убийство было осуществлено в помещении.

Но совсем не так, как об этом рассказывали обвиняемые. Во-первых, доктора ничего не сказали о попытке душения погибшей; не подлежит сомнению, что если бы такая попытка действительно была бы предпринята, её следы не остались бы незамеченными.

К середине XIX века судебная медицина могла распознавать симптомы душения без особых затруднений. Во-вторых, ранение шеи было прижизненным, очень кровавым, и нанесено оно было в тот момент, когда Симон-Дюманш находилась в вертикальном положении — об этом с очевидностью свидетельствовали обширные потёки крови на одежде — юбках и рубашках — погибшей женщины. Если бы рана на шее действительно была нанесена так, как это утверждал Ефим Егоров, никогда бы столь обширных следов крови на одежде не осталось бы.

Но в тот момент никто из следователей не захотел размышлять в этом направлении. Убийцы были названы, дело представлялось ясным, а стало быть, ломать голову было уже не над чем. Уже 22 ноября 1850 года — на следующий день после допросов обвиняемых в Следственной комиссии — Сухово-Кобылин был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде. Мнение московского высшего общества моментально переменялось — Сухово-Кобылина везде встречали как человека незаслуженно пострадавшего от полицейского произвола. В каждом салоне он велеречиво рассказывал о нравах полицейских, клянчивших взятки, и живописал о страданиях в застенках, которые мужественно претерпевал шесть дней (с 16 по 22 ноября). Тут можно процитировать любопытный фрагмент из донесения жандармского генерал-лейтенанта С. В. Перфильева, который 24 ноября 1850 года такими словами сообщал в столицу шефу жандармов графу А. Ф. Орлову циркулирующие в московском обществе сплетни:» [...] говорят: следователь, частный пристав Хотинский, [...] едва ли смог соблюсти ту деликатную осторожность, как в разговорах, так и в самих действиях, которыми бы не оскорблялся не только невинный, но и самый виновный, принадлежащий по рождению, состоянию и воспитанию к высшему классу. Всё это относится к тому, что им задержан был Кобылин и привлечена к делу Нарышкина [...]».

Далее расследование покатилося по накатанной колее: в последние дни ноября 1850 года все обвиняемые побывали на передопросах, в ходе которых отвечали на уточняющие вопросы следователей относительно мотивов убийства Симон-Дюманш. Самым кратким в ответах оказался Галактион Кузьмин, заявивший членам Следственной комиссии, что «Дюманш его очень часто бивала и большей частью безвинно». Наиболее развёрнутые показания дал Ефим Егоров, поимённо назвавший четырёх крепостных девушек, пострадавших за последние годы по вине француженки.

Члены комиссии чрезвычайно заинтересовались этим обстоятельством и 5 декабря вызвали на допрос Сухово-Кобылина. Его попросили ответить на ряд вопросов, связанных с условиями жизни слуг Дюманш. Напомним, все они были крепостными Сухово-Кобылина, и хозяин по закону нёс ответственность за их жизнь и здоровье.

Надо сказать, что о фактах избиения Луизой своих слуг московские власти были прекрасно осведомлены: ещё 11 января 1850 года (то есть за 10 месяцев до убийства француженки) 24-летняя Настасья Никифорова, служанка Симон-Дюманш, принесла официальную жалобу московскому военному губернатору графу Закревскому на постоянные побои со стороны хозяйки. Проведённое расследование подтвердило обоснованность жалобы. Причём о постоянных избиениях Луизой слуг властям сообщили не только сами слуги, но и соседи (что лишний раз подтверждает прекрасную звукопроницаемость стен, о чём уже упоминалось выше). Симон-Дюманш признала себя виновной, заплатила Никифоровой 10 рублей серебром и дала московским властям официальную подписку в том, что «от ссор будет воздерживаться».

Именно поэтому в ходе допроса 5 декабря 1850 года Сухово-Кобылину было невозможно утверждать, будто прислуга Симон-Дюманш возвела на неё «напраслину». Он довольно

неопределённо высказался в том духе, что ему, дескать, дворня никогда на Симон-Дюманш не жаловалась. И стремясь убедить следователей в своём добром отношении к прислуге, Сухово-Кобылин высокопарно заявил, что «с тех пор, как он управляет домом своим, никто ни из людей его, ни из живших у Дюманш слуг наказан не был». Трудно сказать, поверили ли этому допрашивавшие, но из дневника старшей сестры Сухово-Кобылина — Елизаветы — мы знаем, как в действительности вёл себя в домашней обстановке этот человек: «Он стал ещё более требовательным, ещё большим формалистом и, главное, большим деспотом. Теперь раздаётся кричащий голос не маменьки уже, а его; вне себя от возмущения он даёт пощёчины [прислуге — прим. автора] и бьёт тарелки». Такой вот милый потомственный дворянин, окончивший два университета и никогда не наказывавший слуг! Впрочем, можно допустить, что бить крепостных девок по щекам и швырять им в головы тарелки в понимании Александра Васильевича вовсе не было наказанием!

Но даже не этим допрос 5 декабря важен для понимания фабулы расследования. Дело в том, что именно на этом допросе следствие впервые заинтересовалось письмами, найденными в бумагах Сухово-Кобылина. Первое из двух писем на французском языке содержало упрёки в адрес Симон-Дюманш и выглядело закамouflированной угрозой в её адрес. Текст второго, также адресованного, без всяких сомнений, Луизе Симон-Дюманш, был таков: «Милая маменька, мне придётся на несколько дней остаться в Москве. Зная, что Вы остались на даче лишь для разыгрывания своих фарсов и чтобы внимать голосу страсти, который, увы, называет Вам не моё имя, но имя другого! — я предпочитаю призвать Вас к себе, чтобы иметь неблагодарную и вероломную женщину в поле моего зрения и на расстоянии моего кастильского кинжала. Возвращайтесь и тррррр... пешите».

Сухово-Кобылин дал довольно неуклюжие объяснения содержанию писем. О первом он высказался так: «Не могу определить, в какое время и по какому поводу оно писано». О содержании второго Александр Васильевич высказался более пространно: "[...] письмо шутовское, что оказывается и из выражений оного...» Далее в протоколе допроса указано:» [...] впрочем, подобные шутки он довольно часто употреблял с нею, как словесно, так и письменно, а к следствию сия шуточная угроза нисколько не может относиться к совершённому над ней убийству.» Вот так! Назвать женщину «неблагодарной» и «вероломной» — это значит просто-напросто удачно пошутить!

Впрочем, никаких видимых последствий этот допрос не имел. Сухово-Кобылин остался под подпиской о невыезде, а все обвиняемые — под стражей.

Так миновал декабрь, начался новый — 1851 год. Дело готовилось к передаче в суд, причём мотивом убийства по-прежнему называлась жестокость француженки в отношении слуг. Сухово-Кобылин почувствовал, что оглашение подобного мотива уничтожит его репутацию точно так же, как в своё время убийство любовницы графа Аракчеева — Настасьи Шумской — его крепостными безвозвратно скомпрометировало всесильного временщика. В самом деле, если в суде официально будет заявлено, что Сухово-Кобылин собственноручно избивал слуг, а любовница его безнаказанно хлестала их по щекам, била половой щёткой, швыряла в них тарелки и прочее, то на репутации благовоспитанного денди можно было «ставить крест». И пусть во многих московских домах хозяева били своих слуг, но не во всех слуги резали хозяев!

Руководствуясь именно этими соображениями, Сухово-Кобылин 18 марта 1851 года неожиданно представил Следственной комиссии весьма пространный документ, названный им «объяснение». По сути своей это было заявление, в котором Сухово-Кобылин обосновывал наличие у обвиняемых иного мотива убийства — корыстного — не имевшего к мести никакого отношения. Автор утверждал, что Ефим Егоров, инициатор убийства, задолго до преступления стал нуждаться в деньгах; он брал займы крупные суммы и при этом упоминал, что вскоре «получит большой куш», из которого и вернёт все долги. После убийства Симон-Дюманш Ефим Егоров якобы ходил по знакомым и предлагал в заклад либо на продажу золо-

тые часы (как известно из описи вещей погибшей, её золотые часы пропали). Кроме того, после убийства француженки Егоров появлялся у разных людей и просил их разменять 50-рублёвую ассигнацию. Фактически Сухово-Кобылин написал донос на обвиняемого, посредством которого предполагал направить следствие в новое русло.

Примечательно, что даже в этом документе — без сомнения, весьма важном для его автора! — Сухово-Кобылин не удержался от циничного вранья. В своём «объяснении» он в который уже раз постарался убедить следователей в своих сугубо платонических чувствах к Симон-Дюманш и не без притворной горечи упомянул о «близких и дружественных отношениях её к нему в течение восьми с лишком лет, которым людская молва дала неприличное для женщины толкование [...]»!

Дабы придать своему сочинению побольше убедительности, Сухово-Кобылин постарался доказать факт хищения денег у Симон-Дюманш. Сделать это было непросто, поскольку оба осмотра квартиры погибшей и её вещей в ноябре 1850 года проводились под запись в протоколах, и притом в присутствии свидетелей, среди которых были как сам Александр Васильевич, так и его зять Петрово-Соловово. Поэтому Сухово-Кобылин начал, как говорится, «заводить рака за камень» издалека; дескать, он «ясно припоминает, что собственное [его] заёмное письмо [...] видел [он] на полке в углу развёрнутым и как бы брошенным, а бельё [на полке шифоньера] всё перебитым. [Ему же самому] достоверно известно, что порядок именно в шифоньерке Дюманш превосходил всякое воображение [...]». Дальше больше. Сухово-Кобылин решил указать следователям на отсутствие наличных денег в квартире убитой, а затем привёл весьма обстоятельный список вещей, которые, по его мнению, похитили убийцы. В этом списке под пунктом «Ж») упомянуто [...] «бельё, кружева и платья, которых [...] замечен значительный недостаток». Заявитель не поленился оценить стоимость похищенного, которая составила «по самой умеренной цене 1000 рублей серебром».

Примечательно, что сам Сухово-Кобылин ничуть не чувствовал курьёзности сделанного им заявления. В ноябре 1850 года его вовсе не смущало отсутствие денег в доме, а в марте следующего года это вдруг показалось ему подозрительным. Во время обыска он не видел следов вторжения в шифоньер Симон-Дюманш, а через пять месяцев вдруг «ясно припоминает», что «всё бельё» там почему-то было «перебито». Он упорно не признаёт существования интимных отношений с француженкой, но при этом почему-то прекрасно осведомлён о количестве и качестве её белья...

Следственная комиссия, в целом весьма благожелательно настроенная в отношении Сухово-Кобылина, изучила его «объяснение» от 18 марта 1851 года с плохо скрываемым раздражением. В специальном постановлении, датированном 20 марта, комиссия не без сарказма напомнила автору, что он прежде не упоминал о беспорядке в шифоньере, хотя и подписывал протокол обыска. Поданное им «объяснение» комиссия постановила «оставить без исследования», другими словами, автору корректно указали на то, что ему не верят.

Но вскоре после этого в «деле Симон-Дюманш» произошёл в высшей степени малопонятный поворот, о подлинной сути которого спустя полтора столетия весьма непросто составить верное представление. 28 марта 1851 года члены Следственной комиссии были приглашены в дом Александра Васильевича Сухово-Кобылина, где на чердаке деревянного флигеля были обнаружены принадлежавшие Симон-Дюманш вещи: часы на золотой цепи, две золотые булавки, брошка и портмоне. Это был тайник, якобы заложенный Ефимом Егоровым в ночь убийства француженки.

Из материалов дела невозможно понять, откуда стало известно о существовании тайника. Сам Егоров никаких заявлений на этот счёт не делал. Более того, в ноябре предыдущего года он утверждал, что взятые у Симон-Дюманш вещи «кинул за Пресненскую заставу в поле [...]». Если информация о существовании тайника стала известна сыщикам от самого Егорова, то непонятно, что заставило его признаться в этом в марте, а не в ноябре. Признание в ноябре

было бы для него гораздо предпочтительнее, поскольку выглядело бы как доказательство раскаяния и чистосердечности признательных показаний.

Видимо, у членов Следственной комиссии тоже возникли вопросы о происхождении тайника, потому что на следующий день они назначили очные ставки Сухово-Кобылина со всеми обвиняемыми. Александр Васильевич приехал на заседание комиссии и подал очередное своё письменное «объяснение», в котором потребовал этих очных ставок не проводить. «Чувствуя здоровье своё [...] потрясённым до самого основания [...], от очных ставок с людьми [меня — прим. А. Ракитина] уволить», — написал Сухово-Кобылин в этом любопытном документе.

Самое любопытное в этой истории заключается в том, что Следственная комиссия безропотно приняла к исполнению пожелание Сухово-Кобылина и более не тревожила его очными ставками. Интересно, не правда ли? Проведение очных ставок в этом расследовании почему-то напрямую зависело от желания свидетеля...

Прошло менее месяца, и уже 20 апреля 1851 года Следственная комиссия представила московскому военному генерал-губернатору графу Арсению Андреевичу Закревскому рапорт, в котором сообщала об окончании розыска и изобличении виновных. Сухово-Кобылин и Нарышкина (Кнорринг) были освобождены от подписок о невыезде. И первый тут же выехал из Москвы.

Он прибыл в Санкт-Петербург, где 10 июня 1851 года подал прошение на имя Императора Николая Первого. Пространное прошение было дополнено пространной запиской о ходе расследования, написанной собственной рукой Сухово-Кобылина. Цель этого весьма неординарного шага была выражена в следующих словах прошения: «У меня одна цель, одна необходимость: от священного лица Вашего желаю слышать, что я невинен, и тогда спокоен, благословляя Милость и Правосудие Ваше, возвращусь в дом мой». Другими словами, Сухово-Кобылин вознамерился получить от Императора своего рода индульгенцию от возможных новых обвинений в связи с «делом Симон-Дюманш». Очень странный шаг, особенно принимая во внимание, что в это самое время сознавшиеся убийцы уже семь месяцев сидели в тюрьмах и готовились к суду. Видимо, на сердце Александра Васильевича было очень тревожно, раз он решился побеспокоить Монарха...

Государь, не склонный к необдуманным поступкам и легковесным суждениям, пожелал ознакомиться с обстоятельствами расследования и попросил графа Орлова, главноуправляющего Третьим отделением и шефа жандармов, подготовить доклад по «делу французенки Симон». Это пожелание вызвало переписку между графом Александром Фёдоровичем Орловым и московским военным генерал-губернатором. Примечательно, что в этой переписке московский генерал-губернатор Закревский назвал вещи своими именами: он прямо написал о любовной связи Сухово-Кобылина и Симон-Дюманш и отверг предположения о меркантильной подоплёке убийства, заявив, что прислуга убила свою хозяйку «за жестокое с ними обращение». То есть можно с уверенностью утверждать, что попытки Сухово-Кобылина ввести следствие в заблуждение ни к чему не привели, и официальные документы это прекрасно подтверждают.

В августе 1851 года первого из обвиняемых — Ефима Егорова — направили в Московский надворный суд Первого департамента. Там Егоров заявил, что Сухово-Кобылин имел намерение оставить Симон-Дюманш, поскольку с середины 1850 года увлёкся Надеждой Нарышкиной (Кнорринг). Это было известно французенке, которая чрезвычайно негодовала и свою злость срывала на прислуге.

Данное заявление требовало проверки, и суд направил повестку по московскому адресу проживания Сухово-Кобылина. Однако быстро выяснилось, что Александра Васильевича в Москве нет, и это вызвало немалый переполох в полиции. В розыски Сухово-Кобылина пришлось вмешаться даже московскому военному генерал-губернатору, который официальным отношением на имя Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора просил последнего

выслать разыскиваемого в Москву. Однако оказалось, что Сухово-Кобылин покинул северную столицу еще 20 августа. Куда он направился, никому не было известно.

Лишь 10 сентября 1851 года Сухово-Кобылин приехал в Москву и уже через три дня явился в надворный суд, где умудрился дать насквозь лживые показания. Присяга не смутила потомственного дворянина и не сподвигла на откровенность. Сухово-Кобылин не моргнув глазом заявил, что «с Нарышкиной он никогда никакой связи не имел, и сии показания повара его суть клевета [...]», что «он никогда от Дюманш не удалялся [...]. Любовной связи с нею он никогда не имел. [...]». Его отношения к умершей, при всей их короткости, никогда не переходили за пределы нравственного приличия. [...], близость эта дала повод людской молве перетолковать отношения их в обидную для женщины сторону.» Особый цинизм этой лжи состоит в том, что Надежда Нарышкина в том же самом 1851 году уже родила от любовной связи с Сухово-Кобылиным ребёнка. Девочку называли Луизой, в 1883 году Сухово-Кобылин официально её удочерил. Она прожила долгую жизнь, вышла замуж за графа Фальтана и умерла в 1940 году.

Сухово-Кобылин мог лгать в суде, но нам с высоты полутора столетий хорошо видна его ложь. И с большой уверенностью можно утверждать, что поскольку Сухово-Кобылин лгал, значит, оппонент его — Ефим Егоров — говорил правду. И неслучайно очной ставки с Егоровым так боялся Александр Васильевич — он знал, что его утончённая дворянская душа может не вынести напряжения прямого психологического конфликта.

В тот же день — 13 сентября 1851 года — в суд были вызваны все обвиняемые, которые под присягой подтвердили, что в ходе следствия они не подвергались «допросам с пристрастием» и свои показания давали добровольно. Суд на этом и закончился: дело по причине сознания обвиняемых представлялось простым, и потому Первый департамент Московского надворного суда в тот же день вынес приговор. Обвиняемые осуждались: Ефим Егоров — к лишению прав состояния, 90 ударам плетью, клеймению и ссылке в каторжные работы на 20 лет; Галактион Кузьмин — к лишению прав состояния, 80 ударам плетью, клеймению, ссылке в каторжные работы на 15 лет; Прасковья Иванова — к лишению прав состояния, 80 ударам плетью, ссылке на работы на заводах сроком 22 года и 6 месяцев; Пелагея Алексеева — к лишению прав состояния, 60 ударам плетью и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Примечательно, что суд особо оговорил неисполнение вынесенного приговора. Дословно это прозвучало так: «Но, не приводя мнения сего в исполнение, прежде оное вместе с делом [...] представить на ревизию в Московскую палату уголовного суда [...]». То есть суд на всякий случай решил переложить ответственность за окончательное решение на вышестоящую инстанцию. Что и говорить, довольно любопытный казус, отражающий цинизм и трусость судей. Момент этот, видимо, требует более развёрнутого объяснения. Император Николай Первый — как бы ни хулил его Александр Герцен — был сторонником смягчения уголовного судопроизводства и отмены крепостного права. Особенно это стало заметно в период после 1840 года, когда власть Монарха особенно упрочилась. В этот период отечественное дворянство, напуганное разговорами о возможном смягчении наказаний и отмене крепостничества, направляло к Николаю Первому делегации, умоляя его не допустить смягчения внутренней политики, угрожая в противном случае крахом государственности.

Статистика применения телесных наказаний в армии и на флоте свидетельствует об абсолютном уменьшении числа наказаний и относительном смягчении их тяжести в указанный период. Известно, что Император приказал штрафовать судей, приговаривавших осуждённых к 200 и более ударам плетью. Негодование Императора вызывали случаи смерти осуждённых в результате порки. Такова историческая правда — именно сопротивление дворянства не позволило отменить крепостничество Александру Первому и Николаю Первому! Очевидно, московские судьи знали о том, что Монарх проинформирован о сущности «дела Симон-Дюманш»,

а потому боялись слишком суровым приговором вызвать его возмущение. Именно поэтому они и направили приговор на ревизию в суд высшей инстанции.

Московская Уголовная Палата рассматривала «дело об убийении Симон-Дюманш» в двух заседаниях — 30 ноября и 10 декабря 1851 года. В целом решения первого суда были оставлены без изменений, лишь несколько смягчены оказались наказания женщин: Аграфена Иванова приговаривалась к работам на заводах сроком на 20 лет и 3 месяца (вместо 22 лет и 6 месяцев согласно первому приговору), а Пелагея Алексеева — к 55 ударам плетью (вместо 60) и ссылке в каторжные работы на 13 с половиной лет (вместо 15 лет первоначально). Приговор Уголовной Палаты примечателен тем, что в нём прямо говорится об изобличении Сухово-Кобылина в лжесвидетельстве при попытке скрыть от следствия наличие интимных отношений с погибшей. За сожительство с женщиной вне брака Палата обязала Сухово-Кобылина подвергнуться церковному покаянию.

Казалось бы, дело кончено. Виновные сознались, суд приговорил их к наказанию.

Но так только казалось...

Уже 15 декабря 1851 года самый молодой из осуждённых — Галактион Кузьмин — написал в Правительствующий Сенат ходатайство о пересмотре дела. А через несколько дней аналогичные прошения написали Аграфена Иванова и Ефим Егоров. Содержание направленных по инстанциям бумаг вызвало у московской администрации состояние, близкое к шоковому. И было отчего затрепетать судейским чиновникам!

В собственноручно написанном заявлении (если быть совсем точным, то этот документ в те времена назывался «рукоприкладство», то есть приложение руки автора) Кузьмин разнёс в пух и прах как порядок проведения следствия по «делу Дюманш», так и его результат. Прежде всего он указал на то, что по записям 8-й (проведённой в 1833 году) переписи крепостного населения России он показан рождённым в 1830 году. То есть на момент расследования и суда ему было 19 и 20 лет соответственно. Совершеннолетие по законам Российской Империи наступало в возрасте 21 года, а это значило, что Галактион Кузьмин не подлежал суду Московской Уголовной Палаты. Другими словами, московские законники, не потрудившись проверить метрику обвиняемого, допустили серьёзнейшую юридическую ошибку. Уже одно это делало приговор суда ничтожным!

А далее Галактион Кузьмин по пунктам разобрал проведённое Следственной комиссией Шлыкова расследование. Он напомнил о многочисленных бурых пятнах во флигеле, занятом Сухово-Кобылиным. Происхождение этих пятен следствие так и не выяснило. Кто и когда замывал эти пятна, кто очищал штукатурку (да так и не очистил до конца), следствие, опять-таки, выяснить не пожелало! Кузьмин справедливо указал в своём заявлении, что никто из полицейских чинов не предпринимал проверок показаний Сухово-Кобылина, которые раз от раза существенно видоизменялись. В своих первых показаниях Сухово-Кобылин ничего не говорил о последней записке Симон-Дюманш к нему; кроме того, он фактически не имел alibi на ночь убийства (так как находился в гостях у Нарышкиной до 2-х часов ночи, но во сколько именно он ушел оттуда, никто из гостей не видел, а карету в тот вечер он не велел закладывать и ходил по ночной Москве пешком). Дальше — больше! Галактион Кузьмин указал на то, что имущество Симон-Дюманш (якобы украденное Егоровым) на самом деле забрал крестьянин Савин Карпов, которого 9 ноября 1850 года Сухово-Кобылин направил на квартиру Симон-Дюманш именно с этой целью. Карпов, работавший плотником, имел при себе стамеску, молоток и клещи для того, чтобы взломать мебельные замки, если это потребуется. Таким образом, ещё до опознания тела убитой (оно состоялось, напомним, 10 ноября 1850 года) Сухово-Кобылин послал своего человека в её квартиру забрать ценное имущество... А затем написал заявление об исчезновении ценностей!

Но даже не это было самым шокирующим в заявлении Кузьмина. Он первым из осуждённых по «делу Дюманш» написал о том, как же именно следствие получило признательные

показания подозреваемых. Имеет смысл процитировать дословно эту часть заявления Кузьмина; оно очень красноречиво (необходимо пояснить, что Кузьмин пишет о самом себе в третьем лице, то есть «он», «его»): «Был он обольщён господином частным приставом Хотинским 1850 года ноября 15-го, который показывал собственноручное письмо господина его, Сухово-Кобылина; в оном письме он [Сухово-Кобылин] писал, чтобы он, Галактион, принял на себя участие в убийстве Дюманш, за что обещал, и писано было то в письме, и что оное письмо он сам читал из рук господина частного [пристава], за что обещано ему, Галактиону, вечную свободу и отпускную со всем его семейством, а именно: с отцом, матерью, братьями и сёстрами, сверх сего денег 1050 рублей ассигн [ациями] [...]; когда он был послан в Яузскую часть на содержание, то посадили к нему их домового управляющего рядом с его номером [то есть камерой — прим. автора], в котором есть сквозь стену щель, и [управляющий] показал ему письмо, также в начале письма обольщал, а потом угрожал, что всё равно, ежели ты не признаешься и не примешь на себя, то пропал — ты и твоё семейство [...]

Еще более интересным следует признать заявление Ефима Егорова. Последний очень педантично разобрал улики, собранные против него, и методично опровергнул их. Уже в самом начале своего заявления Егоров указал на существование у него надежного *alibi*: девять (!) человек дворовых людей могли подтвердить, что он с 21:00 часа 7 ноября по 8.00 часов 8 ноября 1850 года находился с ними в одной комнате. Ефим Егоров назвал поимённо всех тех людей, с которыми ночевал тогда в одной комнате. Из-под такого присмотра незаметно не выскочишь на улицу! Напомним, что дом Сухово-Кобылина, в котором спал Егоров, был отделён от квартиры Симон-Дюманш довольно большим расстоянием; Егорову просто-напросто не хватило бы времени на все те перемещения, которые ему пришлось бы совершать согласно официальной версии (пройти от дома Сухово-Кобылина до дома графа Гудовича, совершить там убийство, одеть тело и вывезти его за пределы города, вернуться назад, выпить вина с женщинами-подельницами, сходить в трактир с Кузьминым и выпить там и, наконец, вернуться из трактира в дом Гудовича, а оттуда — в дом Сухово-Кобылина, где в шесть часов утра он якобы опять улёгся спать).

Осуждённый прямо назвал причину, побудившую его к самооговору: «бесчеловечные истязания частного пристава Стерлигова».

Процитируем, о каких именно истязаниях шла речь: «1-е) крутили ему самой тоненькой бечёвкой руки столь крепко назад, что локти заходили один за другой, таким образом он оставался связанным от двух часов пополудни и до первого часа пополуночи [то есть более 10 часов — прим. автора]; 2-е) связанного таким образом вешали на вбитый в стене крюк так, что он оставался на весу по несколько часов, не давали ему пить целые сутки, кормя его одной селёдкой и вдобавок, когда он находился связанным, в висячем положении, господин Стерлигов собственноручно наносил чубуком сильные удары по ногам, по рукам и голове. Сознывая свою невинность, он, сколько в силах был, переносил [побои] с терпением; но когда совершенно ослабел, то решился принять на себя то ужасное преступление, дабы избавиться от бесчеловечных испытаний [...]

Ефим Егоров в своём заявлении в Сенат обоснованно обратил внимание на ряд серьёзных моментов, которые следствие совершенно упустило из виду, но которые на корню подрывали официальную версию преступления. Прежде всего, в квартире Симон-Дюманш была отнюдь не одна комнатная собачка по кличке Дуду — нет, таких собачек было аж даже четыре! При всём желании Аграфена Иванова не могла вынести всех их из комнаты сразу! А наличие в спальне убитой комнатных собачек делало невозможным убийство без шума, то есть так, как его описывало следствие... Помимо этого, Ефим Егоров напомнил о существовании на московских улицах полицейских застав и справедливо заметил, что «нельзя было провезти мёртвое тело ни в Пресненскую, ни в Тверскую заставы, [что] подтверждается показаниями 16-ти человек солдат, которые занимали караул на тех заставах».

Помимо Кузьмина и Егорова, заявление в Сенат о непризнании себя виновной написала и Аграфена Иванова.

Надо сказать, что Ефим Егоров обратился не только в Правительствующий Сенат, но и к Императору Николаю Первому. Его прошение на Высочайшее Имя датировано январём 1852 года. В каком-то смысле Ефим Егоров повторил путь своего обидчика — Сухово-Кобылина — который, напомним, также обращался непосредственно к Императору в поисках защиты от полицейского произвола. Поступок Ефима Егорова следует признать тонким и хорошо продуманным шагом: теперь он мог быть уверен, что раз расследование попадёт под Монарший контроль, то козни и взятки его оппонентов не позволят «похоронить» дело. В своём прошении Егоров указал, что с первого дня ареста и вплоть до момента подачи «Прощения» он содержался в одиночной камере, что сильно повредило его здоровью. Он просил Монаршего вмешательства для того, чтобы покончить с этой закамуфлированной пыткой и обеспечить его перевод в общую камеру. Вместе с тем можно предположить, что не только желание переехать в другую камеру двигало Егоровым. Подачей подобного прошения он рассчитывал напомнить как о себе, так и самом расследовании Императору, который, возможно, пожелал бы узнать, на каком этапе находится «дело». Его интерес мог подстегнуть сенаторов к оперативному рассмотрению ходатайств осуждённых, поданных двумя неделями ранее.

Из Собственной Его Императорского Величества канцелярии прошение Ефима Егорова было спущено в Правительствующий Сенат, где рассматривалось 12 июня 1852 года. Постановлением Сената решение этого вопроса было поручено московскому военному генерал-губернатору, в ведении которого находились тюрьмы. Граф Закревский думал над прошением Егорова недолго. Уже 25 июня 1852 года он приказал объявить заключённому, что его прошение на Высочайшее Имя не может быть удовлетворено вплоть до окончания дела. Никаких объяснений этому отказу Егоров не получил.

Разумеется, Сенат не мог пройти мимо заявления Кузьмина о неправильном определении его возраста, поскольку подобное нарушение юридической нормы делало его неподсудным и грозило разрушить всё «дело». Сенат предписал провести сверку данных 8-й и 9-й ревизских переписей, в которых должна была быть зафиксирована метрическая информация о Галактионе Кузьмине. Выяснилось, что между этими данными существует противоречие: 9-я перепись показала Кузьмина и Егорова старше, чем 8-я. Чтобы окончательно прояснить этот вопрос, Сенат постановил провести медицинское освидетельствование всех осуждённых по «делу Симон-Дюманш». Эта процедура должна будет установить их возраст согласно медицинским и антропометрическим признакам.

Освидетельствование было проведено 29 сентября 1852 года. Надо думать, оно было достаточно формальным; в нём участвовали девять человек — члены московской Уголовной палаты, полицмейстер и один врач, служивший в полиции (по фамилии Тепловский). В результате осмотра официальные лица признали всех осуждённых вполне развитыми, и на этом основании было решено верить записям 9-й ревизской переписи, согласно которым Галактион Кузьмин (самый молодой из осуждённых) родился 26 октября 1829 года. Таким образом, на момент совершения преступления он был совершеннолетним (ему уже исполнился 21 год), а стало быть, никаких оснований для пересмотра приговора по делу не существовало. Что ж, решение вполне предсказуемое, если даже не сказать — очевидное!

Надо заметить, что Сенат был таким юридическим органом, рассмотрение вопросов в котором растягивалось порой на многие годы. Работу Сената хулители царизма порой объявляли образцом тупости и нерациональности. Между тем в размеренном, подчинённом строгой очерёдности порядке рассмотрения спорных вопросов была своя жизненная правда. Большое видится издалека, а Сенат создавался именно для больших дел. Многие сенаторы были людьми пожилыми и даже дряхлыми, но возраст этих почтенных старцев давал им тот жизненный опыт, которого никогда не будет иметь горячая юность. Поэтому Правительствующий

Сенат, сыгравший огромную роль в становлении отечественной традиции правоприменения, отнюдь не заслуживает тех уничижительных эпитетов, которыми так любили клеймить царскую бюрократию «соловьи революции» Кропоткин и Герцен (эти «соколы» напророчили нам гораздо более гадкую бюрократию). Также следует заметить, что отделения Сената (так называемые московские департаменты) находились и в Москве, поэтому основная переписка по «делу Симон-Дюманш» была сосредоточена именно в этом городе.

Вероятно, для того чтобы ускорить рассмотрение дела, московский обер-прокурор П. И. Рогович в апреле 1853 года обратился к членам Сената с предложением о желательном подтверждении приговора Уголовной палаты. Может быть, все осуждённые и получили бы назначенные судом наказания, но один из сенаторов — Иван Николаевич Хотяинцев — не согласился ни с результатами расследования, ни с объективностью судей. Он прямо указал на все те нелепости, которые лежали на поверхности и, как говорится, лезли в глаза любому непредвзятому юристу. В своей записке, приобщённой к делу, сенатор не без сарказма написал, что «всего же менее можно принять за вероятное [...], что убийство совершено было в доме графа Гудовича, где не было бы возможности скрыть следов крови и в особенности пред Сухово-Кобылиным, который [...] часа через три по совершении убийства приходил на квартиру отыскивать следы пропавшей Дюманш [...]». Хотяинцев предлагал сенаторам не рассматривать дело по существу (то есть не утверждать и не отвергать вынесенный ранее приговор), а вернуть его на доследование.

Таким образом дело, описав большой круг, в начале лета 1853 года вернулось назад — в суд низшей инстанции.

И тут чрезвычайно заволновался Сухово-Кобылин. Оно и понятно: почти два года юридической волокиты не только не разъяснили обстоятельств убийства, но напротив, затемнили их. Как же скверно всё это, должно быть, отражалось на репутации великого сердееда и дамского угодника! Кто же захочет иметь дело с человеком, замаранным отвратительным подозрением в причастности к убийству любовницы?!. Репутация Сухово-Кобылина была бы спасена, если бы удалось загнать на каторгу собственных крепостных, но поскольку сенаторы не поверили в их виновность, то и вопрос о порядочности Сухово-Кобылина оставался неопределённым.

Поэтому летом 1853 года Александр Васильевич с горячностью, мало соответствовавшей его европейскому воспитанию, поехал в Санкт-Петербург, где в середине августа добился приёма у министра юстиции Виктора Никитича Панина (если быть совсем точным, Сухово-Кобылин встречался с Паниным дважды — 18 и 19 августа 1853 года). Александр Васильевич вручил министру весьма пространную «записку», в которой изложил своё понимание «дела Симон-Дюманш». Записка эта была дополнена прошением на имя министра и приложением, названным «разъяснение возбуждаемых сомнений», в котором Сухово-Кобылин постранично разбирал всё следственное производство и доказывал вину своих крепостных. Этот труд не может не вызвать удивления стороннего человека, поскольку именно доследование должно было найти разъяснение тем неясным моментам, которые вызвали сомнения сенаторов. Вручением министру своей «записки» Сухово-Кобылин поставил себя в положение весьма двусмысленное: фактически он самозванно присвоил себе роль следователя, явился к министру и предложил безо всякого доследования поверить ему на слово, что крепостные виновны во всём. Очень странный поступок, особенно принимая во внимание, что сам Сухово-Кобылин был некогда подозреваемым по этому делу, а теперь являлся свидетелем; в любом случае он был лицом, заинтересованным во вполне определённом исходе следствия и суда.

Министр юстиции, разумеется, всё это прекрасно понимал. Панин не имел никаких оснований оспаривать предложенную Сенатом процедуру доследования, а потому он принял Сухово-Кобылина весьма прохладно. Принятые от последнего «записку» и «прошение» Панин передал в свою канцелярию, и уже 20 августа эти бумаги были формально приобщены к делу.

Вместе с тем министр юстиции, занимавший свою должность с 1839 года, был прекрасно осведомлён о том, что Сухово-Кобылин двумя годами ранее обращался к Императору с просьбой оградить его от полицейского произвола. И нельзя было исключать, что к подобному приёму он не прибегнет ещё раз. Поэтому министр юстиции попросил обер-прокурора Сената Кастора Никифоровича Лебедева ознакомиться со следственными материалами и высказать своё мнение о том, сколь компетентно провела свою работу комиссия Шлыкова.

Обер-прокурор представил доклад, в котором подробно разобрал основные моменты «дела Симон-Дюманш». Он, несомненно, старался быть объективным, и это желание предопределило ту двойственность, которую содержали выводы Лебедева. С одной стороны, обер-прокурор выразил сомнение в том, что осуждённые слуги в самом деле подвергались притеснениям со стороны полиции. В силу этого Кастор Никифорович Лебедев был не склонен верить в искренность их жалоб в Сенат. С другой стороны, обер-прокурор совершенно справедливо указал на явные недочёты расследования, которые сами следователи почему-то предпочитали не замечать. К этим недочётам следовало отнести неопределённость аутопсии, так и не разъяснившей однозначно, отчего же именно последовала смерть Дюманш (от удушения или удара ножом в горло), а также странное невнимание комиссии Шлыкова к переписке Сухово-Кобылина, способной многое объяснить в отношениях последнего с женщинами вообще и с погибшей француженкой в частности. Лебедев совершенно справедливо указал на лживость многих заявлений Сухово-Кобылина, так и не признавшего существование интимных отношений с Симон-Дюманш. Более того, обер-прокурор даже предположил, что сожительство Сухово-Кобылина с Симон-Дюманш к моменту убийства последней уже прекратилось ввиду нежелания первого. Обер-прокурор так выразился о Сухово-Кобылине: «Он всегда мог разорвать эту связь и, по-видимому, разрыв последовал незадолго до рассматриваемых событий». Никто до Лебедева подобных предположений не делал. Легко понять, что такого рода догадки были весьма опасны для Сухово-Кобылина, поскольку объясняли существование серьёзного мотива убийства, совершенно не изученного следователями.

Особо Лебедев рассмотрел жалобы Сухово-Кобылина на действия полиции и якобы причинённые ему оскорбления и неудобства. Обер-прокурор совершенно справедливо указал в своём докладе на полную необоснованность высказанных претензий. В целом же Кастор Никифорович Лебедев склонялся к тому, что убийство Симон-Дюманш совершили её слуги, уже осуждённые решением Уголовной Палаты, а потому следствие не имеет смысла, поскольку» [...] новое дополнение не приведёт к более положительному дознанию истины».

Надо сказать, что Александр Васильевич Сухово-Кобылин был чрезвычайно раздосадован появлением доклада Лебедева. Хотя в целом обер-прокурор не высказал никаких подозрений в его адрес, Сухово-Кобылин на всю жизнь затаил обиду на Лебедева и даже спустя многие годы с крайним раздражением вспоминал этого человека. Из воспоминаний современников Сухово-Кобылина известно, что Александр Васильевич любил сетовать на продажность российских юристов и сенаторов, которые в его саркастических рассказах всегда оказывались не иначе как циниками и взяточниками, стремившимися оклеветать безвинно страдавшего Сухово-Кобылина; так вот обер-прокурор Сената в этих воспоминаниях оказывался едва ли не самым отвратительным из сонма упомянутых проходимцев. Однако подобный взгляд на сенаторов вообще и обер-прокурора в частности едва ли справедлив. Доклад Лебедева — это следует подчеркнуть ещё раз! — отнюдь не был направлен против Сухово-Кобылина и ни в чём его не обвинял, вскрывая же ошибки московских следователей, обер-прокурор поступал как честный чиновник.

Однако по иронии судьбы в те самые дни, когда Сухово-Кобылин и Кастор Лебедев готовили свои записки для министра юстиции, за сотни вёрст от столицы Империи, в городе Ярославле, разворачивались неординарные события, определённым образом повлиявшие на дальнейший ход «дела Симон-Дюманш». В августе 1853 года там была арестована группа

мошенников, пытавшихся оформить в заклад не принадлежавшую им недвижимость. На первый взгляд случившееся не имело ни малейшего отношения к произошедшему почти тремя годами прежде убийству Луизы Симон: фамилии арестованных не фигурировали в материалах Следственной комиссии Шлыкова, никто из них не был лично знаком с погибшей француженкой... И тем удивительнее для чинов ярославской полиции прозвучали слова одного из арестованных — отставного поручика Григория Скорнякова — о том, что он располагает существенной информацией о случившемся в ноябре 1850 года в Москве убийстве француженки и просит допросить его об этом.

На допросе 28 августа 1853 года Скорняков сообщил, что руководитель преступной группы, членом которой он состоял, некто Алексей Петрович Сергеев, рассказывал ему об обстоятельствах убийства московской купчихи, которое было осуществлено самим же Сергеевым осенью 1850 года. Алексей Сергеев был личностью совершенно опустившейся и уже давно ставшей на преступный путь; рождённый дворянином, Сергеев был лишён дворянского звания за убийство и, сосланный в каторжные работы, бежал из Сибири. Появившись в Москве, этот преступник некоторое время перебивался разного рода незаконными промыслами: мелким шантажом, подлогом векселей, карточным шулерством, отчасти был сутенёром.

Узнав о том, что крупный московский повеса Сухово-Кобылин тяготеет к многолетней связью с опостылевшей ему француженкой, Алексей Сергеев нашёл повод познакомиться с ним. Преступник сделал предложение, от которого Сухово-Кобылин был не в силах отказаться: всего за 1000 рублей ассигнациями Сергеев пообещал убить француженку. Скорняков утверждал (опять-таки со ссылкой на Сергеева), что Сухово-Кобылин сначала не отнёсся к сделанному предложению всерьёз, потом долго колебался, но в конце концов принял его. Согласно выработанному плану, француженку (Скорняков на допросе называл её «Симон Демьяновна») надлежало заманить в дом Сухово-Кобылина; хозяину следовало обеспечить убийце беспрепятственное проникновение в свои покои и возможность совершить преступление без свидетелей; тело надлежало вывезти за пределы городской черты, причём его транспортировку брал на себя Сергеев; драгоценности, обнаруженные на теле, убийца мог оставить себе. Для осуществления преступного замысла Сухово-Кобылин специально оставил свои апартаменты на втором этаже большого дома на Сенной и переехал в небольшой флигель во дворе. Переезд этот, по словам Скорнякова, был осуществлён буквально «дня за два, не более, до преступления» (на самом деле — за четыре дня).

Дабы обеспечить себе *alibi*, Сухово-Кобылин покинул вечером своё жилище и отправился в гости (из материалов дела известно, что вечером 7 ноября 1850 года он действительно был в доме Нарышкиных). Убийца — Сергеев — спрятался в одной из комнат и там дожидаясь появления жертвы. Женщина была им убита, едва только вошла в комнату; Сергеев с ней не заговаривал. Ударом ножа он рассёк Симон-Дюманш горло, подхватил тело и оттащил его в сени, где заблаговременно из пола была вытащена доска. Тело агонизировавшей женщины Сергеев уложен таким образом, что кровь из раны стекала под пол. По словам Скорнякова, убийца неплохо поживился: с тела убитой им женщины Алексей Сергеев снял бриллиантов более чем на 32 тысячи рублей ассигнациями. Важным в показаниях Скорнякова было то, что он дал неплохое описание драгоценностей, похищенных убийцей. Такие детали легко проверяются, а потому если бы Скорняков выдумывал свой рассказ, он не стал бы их упоминать.

Убийца вывез тело за Пресненскую заставу и оставил его под открытым небом. В целом Скорняков довольно точно воспроизвёл последовательность событий после исчезновения Симон-Дюманш. Он даже рассказал о том, что полицейский «полковник Стерликов» добился признательных показаний прислуги пыткой.

Даже если считать, что Скорняков был мистификатором, пожелавшим ввести следствие в заблуждение, нельзя было не признать, что этот человек очень хорошо был осведомлён об обстоятельствах «дела Симон-Дюманш».

Протокол его августовского допроса в Ярославле проделал немалый путь по канцеляриям Министерства внутренних дел, пока, наконец, не попал в Московское Присутствие Правительствующего Сената, где и был приобщён к делу 18 апреля 1854 года. Самого же Григория Скорнякова тогда же отправили под конвоем в Москву, дабы он мог лично рассказать сенаторам о сути сделанного им заявления.

Осенью же 1853 года члены Московских департаментов Сената готовились к общему собранию, на котором надлежало обсудить расследование «дела Симон-Дюманш». Такое собрание состоялось 2 октября 1853 года. В ходе него от имени Министерства юстиции было оглашено подготовленное статским советником Павлом Минычем Розовым «Предложение господина Управляющего [...]». Этот серьёзно проработанный документ, представленный вдумчивым и компетентным юристом, пожалуй, впервые подверг объективному анализу весь нарабатанный правоохранительными органами материал по «делу».

Прежде всего, в «Предложении» разбирались условия, при которых были получены признательные показания осуждённых, и констатировалось, что они «не удовлетворяют требованию закона [...]». Документ совершенно справедливо указывал на то, что комиссией Шлыкова побудительной причины жестокого преступления так и не обнаружено. Разбором следственных материалов убедительно доказывалось, что ни жёсткость француженки, ни корысть её слуг не могут служить действительным обоснованием столь сложно совершённого убийства. Автор совершенно справедливо указал на очевидное, в общем-то, соображение, которое до него не привлекало к себе внимания -» [...] не было цели резать шею мёртвой женщине. По осмотру тела оказалось, что горло около перереза завёрнуто волосами распущенной косы, что могло служить лишь для одного удержания стремительного течения крови.» Понятно, что у трупа подобного кровотечения быть не могло; это значило, что убийца резал горло ещё живой женщине. Тем самым статский советник Розов фактически подтвердил достоверность заявления Григория Скорнякова, о котором в октябре 1853 года он ещё ничего не мог знать.

Жёстко, не церемонясь, статский советник указал на непрофессионализм московских следователей: «Следователи не обнаружили истинной причины кровавых пятен [в квартире Сухово-Кобылина], оставя столь важное свидетельство без всякого дальнейшего обследования. Они не опросили никого из прежде живших в квартире [...], не обратили внимание на различие [Сухово-Кобылина] с камердинером о времени перехода в квартиру и даже не сделали подробного описания расположению дома.»

Предложения Павла Миныча Розова (напомним, официально они делались от имени Министра юстиции Российской Империи Панина) были бескомпромиссны и весьма неприятны для московских законников. Он предлагал вернуть дело на доследование («к строгому переследованию»), после которого направить его в суд первой инстанции «для рассмотрения вновь» и, наконец, «расследовать упущения и противозаконные действия следователей». Не заявив прямо о подкупе следователей Сухово-Кобылиным, консультант министра тем не менее недвусмысленно дал понять, что в «деле Симон-Дюманш» не обошлось без взяток.

Разумеется, эти предложения оказались чрезвычайно неудобны для московских чиновников. Шлыков, возглавлявший Следственную комиссию, был своеобразным порученцем московского генерал-губернатора Закревского, лицом, близким ему лично. Бросая тень на Шлыкова, петербургский консультант Министра юстиции попадал в Закревского! Клановые интересы высших московских чиновников в этом никак не совпадали с интересами петербургских должностных лиц. Если допустить вольную аллегория, то можно сказать, что «дело Симон-Дюманш» застряло, подобно камню, между шестерёнок зубчатой передачи и заклинило её. Мнения сенаторов на заседании 2 октября 1853 года разделились. Сложившаяся патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не могла провести своё решение, фактически привела к провалу всех предложений Министра юстиции В. Н. Панина.

Министр мог бы отступить и не будоражить более московских сенаторов. Но он не отступил. Нашла, как говорится, коса на камень!

В ноябре Панин обратился к государственному секретарю В. П. Буткову, управляющему делами Кабинета министров, с предложением вынести обсуждение вопроса о ходе расследования «дела Дюманш» на заседание Государственного Совета. Последний по степени своей влиятельности можно сравнить с нынешним Советом Федерации (это, конечно, сравнение нестрогое и даже грубое; оно лишь даёт представление о высоком политическом статусе членов этого законотворческого органа). Уголовное дело, таким образом, попало на «высший этаж» российской политики.

Как ни сопротивлялись московские чиновники, а авторитет Панина «перевесил» всё. Даже авторитет Закревского. Государственный Совет на своём общем собрании 17 декабря 1853 года принял решение, полностью совпавшее с предложениями Министра юстиции. Государственный Совет постановил учредить новую следственную комиссию из «благонадёжных и опытных» чиновников министерств юстиции и внутренних дел; в состав комиссии надлежало ввести жандармского штаб-офицера. Персональный подбор членов комиссии был возложен на министров внутренних дел и юстиции, а также шефа жандармов. Московского генерал-губернатора к формированию комиссии не допустили (понятно почему). Куратором комиссии становился Министр юстиции, которому надлежало вести «особое наблюдение за правильным и безостановочным производством [...]» следствия. Кроме того, Государственный Совет постановил всех виновных в фальсификации первого расследования «подвергнуть строжайшему взысканию по законам».

После утверждения 6 января 1854 года Императором решения Государственного Совета довольно быстро были произведены назначения в её состав. От Министерства юстиции вошёл обер-прокурор Сената статский советник Попов, от Министерства внутренних дел — действительный статский советник Васильчиков, от Корпуса жандармов — генерал-майор Ливенцов.

Все они, закончив текущие дела в Петербурге, выехали в Москву в марте 1854 года. И уже 6 апреля новая следственная комиссия провела повальный обыск дома Сухово-Кобылина.

С момента убийства Симон-Дюманш минуло уже более трёх лет, в доме Сухово-Кобылина был проведён большой ремонт с перепланировкой некоторых помещений, и поэтому совершенно непонятно, какие именно следы члены комиссии надеялись обнаружить.

Нельзя отделаться от ощущения, что проведённый обыск был просто демонстрацией активности. Решительно ничего, кроме возобновления сплетен в московском обществе, этот обыск не дал (хотя, конечно, перепланировка помещений, произведённая Сухово-Кобылиным, вызвала раздражение членов новой комиссии. Генерал-майор Ливенцов, например, в рапорте шефу жандармов графу Орлову так описал увиденную картину: «Флигель [...] подвергся значительным изменениям без испрошения на это установленного разрешения. [...] Бывшее прежде парадное крыльцо уничтожено и совершенно изменено положение заднего крыльца и чёрных сеней. Цель таких изменений, по моему мнению, могла быть только одна: преграждение всякой возможности к определению впоследствии местности [то есть взаимного расположения — прим. автора] и кровавых следов [...]».

В течение апреля 1854 года члены комиссии были озабочены проверкой различных следственных материалов и связанной с этим перепиской. В частности, комиссия заинтересовалась происхождением утюга, которым якобы слуги избивали лежавшую в кровати хозяйку. Егоров, Кузьмин и Иванова утверждали, что того чугунного утюга со смятой ручкой, который был приобщён к делу как орудие убийства, никогда в хозяйстве Симон-Дюманш не было. Комиссии удалось разыскать крестьянку Веру Николаеву, работавшую одно время горничной у Дюманш. Николаева полностью подтвердила заявления троих осуждённых.

Были опрошены в качестве свидетелей все дворники дома графа Гудовича. Их было четверо: трое работали на Гудовича, один — на статскую советницу Рюмину, занимавшую этаж

в этом доме. Как дворники, так и управляющий домом Дорошенко под присягой утверждали, что организация работы дворников полностью исключала возможность незаметного для них открытия ворот на улицу в ночное время. Кроме того, каретный сарай, из которого Галактиону Кузьмину согласно официальной версии надлежало вывезти запряжённый возок, находился прямо напротив окон кухни князя Радзивилла, в которой спали двое его слуг. Комиссия пришла к выводу, что вывезти тело убитой Симон-Дюманш из дома Гудовича в ночное время, не привлекая к себе внимания, было невозможно. А это заключение означало, что тело было либо оставлено в квартире до утра (а утром там появился Сухово-Кобылин), либо убийство было осуществлено в другом месте.

Опасаясь, что Сухово-Кобылин, оставаясь на свободе, сможет воспрепятствовать работе комиссии, статский советник Н. А. Попов предложил заключить его под арест. По этому поводу между членами комиссии возникли разногласия, но в конечном итоге точка зрения Николая Алексеевича возобладала, и 6 мая 1854 года Сухово-Кобылин вновь оказался под караулом. На этот раз, правда, его поместили не в полицейскую часть, а на гарнизонную гауптвахту.

Арестован был и Иван Фёдорович Стерлигов, тот самый майор, который в своё время так ловко получил признательные показания от Ефима Егорова. Разумеется, бывший пристав отрицал все обвинения в добывании показаний незаконными методами, но 11 мая 1854 года в присутствии членов комиссии была проведена очная ставка между Стерлиговым и Егоровым. Каждый из её участников стоял на своих прежних показаниях, однако Егоров был всё же более убедителен.

Кроме того, существенную помощь расследованию принесло то, что в составе комиссии был представитель Корпуса жандармов. Генерал-майор Ливенцов сумел получить весьма важную информацию, проливавшую свет на манеру Ивана Стерлигова проводить допросы. Оказалось, что во время расследования ограбления и убийства полковника Майделя на Патриарших прудах Иван Стерлигов в кратчайший срок сумел получить признательные показания от двух подозреваемых — Ульяна Шепелева и Алексея Степанова, причём у последнего после допроса руки оказались сломанными. Однако через некоторое время были пойманы настоящие убийцы полковника — грабители из банды Никанора Бухвостова. После этой истории Стерлигову пришлось уволиться из полиции, хотя карьера его отнюдь не была разрушена. В 1854 году он работал в Комиссариатском штате (это было учреждение, занимавшееся вещевым снабжением войск московского гарнизона) и отнюдь не бедствовал.

Забегая вперед, можно сказать, что на майора-«беспредельщика» управа всё же была найдена. Уже в 1854 году он был уволен со службы, лишён званий и наград и осуждён на ссылку в Сибирь.

При всесторонней проверке следственных материалов, полученных предшественниками, комиссия, разумеется, заинтересовалась обстоятельствами обнаружения вещей Симон-Дюманш на чердаке дома Сухово-Кобылина. Напомним, что по версии комиссии Шлыкова, вещи эти, закопанные в шлак межпотолочного перекрытия, указал лично Ефим Егоров; сам же Егоров утверждал, что обнаружение вещей состоялось безо всякого его участия и его даже близко не подпустили к месту раскопок на чердаке. Когда члены комиссии стали опрашивать всех участников этих раскопок, то очень быстро выяснилось, что официальный документ комиссии Шлыкова фактически был фальсифицирован, ибо не соответствовал тому, как действительно происходило упомянутое событие.

Прежде всего, Сухово-Кобылин и управляющий его имуществом Фирсов признались, что не присутствовали при обнаружении вещей Симон-Дюманш (хотя под официальным документом они подписались как понятые, то есть непосредственные свидетели происходившего). Найденные вещи действительно были завёрнуты в письмо, написанное мужской рукой и адресованное некоей Лукерье Васильевне Трубиной. Следователи из комиссии Шлыкова утверждали, что письмо принадлежит Ефиму Егорову, сам же Егоров заявлял, что Трубина была

любовницей Макара Лукьянова, камердинера Сухово-Кобылина. Новой следственной комиссии удалось разыскать Лукерью Трубину, хотя она и проживала вне Москвы («на Выксунском заводе» в Нижегородской губернии). На допросе женщина подтвердила факт существования интимных отношений с Макаром Лукьяновым и опознала его почерк. Таким образом, заявление Ефима Егорова получило полное подтверждение при проверке.

Поэтому 9 июня 1854 года камердинер Сухово-Кобылина был арестован. Лукьянову ставили в вину многочисленные «разноречивые показания» и «упорное заперительство» по многим вопросам: ему припомнили и кровавые пятна во флигеле, и его протирания полов, и письмо любовнице, в которое почему-то оказались завернуты драгоценности убитой француженки.

Новая комиссия занималась проверкой и иных материалов, оставленных комиссией Шлыкова без внимания. В частности, прежние следователи почему-то не задумались над тем, сколь недостоверно объяснение происхождения кровавых пятен в сенях флигеля, которое дал Сухово-Кобылин. Напомним, он утверждал, будто многочисленные и крупные по размеру кровавые пятна на полу, плинтусах и стенах прихожей образовались из-за того, что повара резали там птицу. Объяснение это выглядело достаточно странным: любой разумный человек отправился бы резать живность на крыльцо или во двор. Поэтому новая комиссия допросила под присягой поваров Сухово-Кобылина — Ефима Егорова и Тимофея Коровина. Оба они заявили, что никогда не забивали птицу в сенях.

Помимо этого, была сделана попытка проверки alibi Сухово-Кобылина (хотя, конечно, нельзя не признать, что летом 1854 года подобная проверка выглядела весьма запоздалой). Комиссия Шлыкова почему-то не захотела изучать этот вопрос, хотя он представлялся очень важным. Сухово-Кобылин утверждал, что вечером 7 ноября 1850 года (то есть во время убийства Симон-Дюманш) был в доме Нарышкиных и даже называл свидетелей, которые якобы могли это подтвердить. Оттуда он ушёл будто бы в два часа ночи. Между тем люди, на которых он ссылался как на свидетелей, не смогли подтвердить его заявление, а слуги Нарышкиных дали показания, прямо противоречившие словам Сухово-Кобылина. Фактически, его alibi подтверждала только Надежда Нарышкина, которая являлась его любовницей и выступала в этом деле явно заинтересованным лицом.

Чем внимательнее новые следователи проверяли слова Сухово-Кобылина, тем больше несуразностей и даже прямой лжи находили. Еще в 1850 году его официально спрашивали о том, имеет ли он в своем распоряжении вещи, принадлежавшие Симон-Дюманш. Сухово-Кобылин не моргнув глазом заявил, что на память о француженке он сохранил только подушку и двух комнатных собачек. То есть никаких бумаг и ценных предметов, принадлежавших ей, в его распоряжении нет. Между тем через некоторое время стало известно, что в 1851 году он подарил своей знакомой иностранке (по фамилии Кибер) «перстень с изумрудом, обделанный розами [...]». Кибер узнала в нём вещь, принадлежавшую Симон-Дюманш. В 1854 году следователи заинтересовались этой историей и задали арестованному Сухово-Кобылину вопрос о происхождении перстня с изумрудом. Вопрос был нарочито сформулирован таким образом, чтобы арестованный не понял, что речь идет о его подарке Кибер. Сухово-Кобылин несколько смутился, но тем не менее бодро ответил, что Симон-Дюманш подарила ему свой перстень, который хорошо гармонирует с карманными часами, и он «носит его несколько уже лет при часах». Тогда его попросили объяснить происхождение перстня, подаренного Кибер. Тут Сухово-Кобылин заволновался по-настоящему и пустился в довольно путанные объяснения, которые сводились к тому, что на самом деле Симон-Дюманш дарила ему два перстня, «или лучше сказать кольцо, а перстень [...] есть другой совсем, который сохранил он у себя [...]». Все эти уточнения, всплывавшие по мере того, как арестованного загоняли в угол и ловили на лжи, выглядели в устах почти что 40-летнего мужчины крайне недостоверно и подозрительно.

Разумеется, самое пристальное внимание новой следственной комиссии привлекли показания Григория Скорнякова. После того, как этот человек был доставлен в Москву, он подтвердил перед членами комиссии своё заявление, сделанное в Ярославле. Помимо этого, Скорняков добавил, что в московской тюрьме он встретил того самого Алексея Сергеева, который и был убийцей Симон-Дюманш. Упомянутый им Сергеев в полицейских списках числился под фамилией «Иваницкий». Правда, после первого допроса Скорняков неожиданно отказался от своих слов, заявив, что не будет уличать Сергеева. Тем не менее генерал-майор Ливенцов так оценил первоначальное заявление Скорнякова:» [...] рассказы его разительно совпадают с некоторыми фактами, открытыми комиссией и содержащимися в прежнем следствии, хотя сделанный Скорняковым оговор и не соединяет в себе по закону всех условий юридической достоверности.»

Расследование принимало всё более угрожающий для Сухова-Кобылина оборот. Разоблачением подлога вещей убитой француженки из дела фактически устранялась последняя серьёзная улика против слуг Симон-Дюманш. К середине июня всем прикосновенным к расследованию стало очевидно, что Егоров, Кузьмин и Иванова не убивали француженку. И тогда логичным представлялись следующие вопросы: кто инспирировал обвинения против этих людей? кто закладывал фальшивый «тайник» на чердаке дома Сухова-Кобылина? Ответ на самом деле очень прост, он лежит на поверхности — этим мог заниматься только настоящий убийца...

Отдавая себе в этом отчёт, мать арестованного Сухова-Кобылина — Мария Ивановна — в июле 1854 года обратилась к Императору Николаю Первому с просьбой освободить «больного сына» из-под стражи на поруки.

Это обращение вызвало большую переписку между высшими чиновниками Империи и в конечном итоге было удовлетворено. Александр Васильевич Сухово-Кобылин и его камердинер Макар Лукьянов были выпущены «на поручительство» матери подозреваемого 2 ноября 1854 года.

Работа следственной комиссии закончилась в середине октября 1854 года. Все следственные материалы, подшитые в семь томов, а также конверт и коробки с приложениями (там находились приобщённые к делу письма, планы) были направлены в Правительствующий Сенат. Там 23 октября 1854 года было принято решение провести новое слушание дела в суде вне очереди.

Суд, заседавший два дня — 19 и 24 февраля 1855 года — был смешанным по своему составу. В нём были представители надворного (судившего дворян) и уездного московских судов (уездные суды судили представителей прочих сословий). Мнение по делу Общее присутствие (а именно так именовался этот суд) вынести не смогло — голоса судей-заседателей разделились поровну. Поэтому в состав Общего присутствия был командирован ещё один судья из состава надворного суда.

Может показаться удивительным, но московские судьи полностью проигнорировали материалы, собранные второй следственной комиссией. Если прочитать вынесенный вердикт, то можно подумать, что он относится к 1851 году, поскольку во всём повторяет заключения первого суда. Сухово-Кобылин по всем статьям оказался оправдан, его же слуги признавались виновными в «убийстве Симон-Дюманш с заранее обдуманном намерением». Назначенные им наказания своей тяжестью даже превзошли те, что полагались осуждённым по приговору Московской Уголовной палаты, вынесенном в декабре 1851 года: Ефим Егоров приговаривался к 100 ударов плетью, клеймение, бессрочной ссылке в каторжные работы на рудниках; Галактион Кузьмин — к 90 ударов плетью, клеймение и ссылке в каторжные работы на рудниках сроком 20 лет; Аграфена Иванова — к 80 ударов плетью, клеймение и ссылке в каторжные работы на заводах сроком 22 года и 6 месяцев.

Приговор, вынесенный Общим присутствием, поступил в Московскую палату уголовного суда, где был несколько смягчён: количество ударов плетью уменьшили на 10 для каждого из осуждённых и бессрочную каторгу для Ефима Егорова ограничили 20 годами. Московский военный генерал-губернатор согласился с решением Уголовной палаты, назвав его «правильным и согласным с приведёнными ею узаконениями [...]». Нельзя отделаться от мысли, что все три инстанции (Общее присутствие надворного и уездного судов, Уголовная палата и Генерал-губернатор) демонстративно бросили вызов «петербургским законникам». Дескать, не надо нам присылать из столицы следователей, здесь, у себя мы как-нибудь сами разберёмся... Возможно, граф Закревский не желал поступиться правом решать все дела в Москве по собственному разумению и потому принципиально решил в «деле Симон-Дюманш» не уступать столичному Сенату. В конце концов, Арсений Андреевич Закревский был неплохо знаком с полицейской работой, поскольку в течение почти трёх лет (в 1828—1831 годах) возглавлял Министерство внутренних дел Российской Империи. Из воспоминаний об этом человеке известно, что он был нрава весьма крутого, как сейчас бы сказали — склонен к авторитарному стилю руководства.

Однако «дело Симон-Дюманш» не закончилось и теперь. Правительствующий Сенат, разумеется, желал знать, как результаты работы второй следственной комиссии учтены при рассмотрении дела в новом суде. И 21 февраля 1856 года, изучив приговор Уголовной палаты и все семь томов предварительного следственного производства, вынес «Определение». В этом документе буквально с первых же слов сенаторы обрушились на решения московских судей, констатируя как непреложные те факты, которые в Москве постарались не заметить. Имеет смысл процитировать некоторые из заключений сенаторов (уж больно красноречивы их формулировки!): «1) Убийство Симон-Дюманш совершено не в её квартире и не на месте, где её тело найдено; 2) Сознательные показания [перечислены осуждённые — прим. автора] об убийстве ими Дюманш столь неправдоподобны, что не могут служить основанием к осуждению их как убийц [...]; 3) [...] многие обстоятельства, по мнению Правительствующего Сената, навлекают на Сухово-Кобылина подозрение если не в самом убийстве Дюманш, то в принятии в оном более или менее непосредственного участия [...]». Вот уж воистину, не в бровь, а в глаз!

Разумеется, Сенат никак не мог согласиться с теми тяжёлыми наказаниями, которые вынесли судебные заседатели в Москве. Сенаторы как члены высшего судебного учреждения Империи имели право изменять любые приговоры (кроме утверждённых Императором, Его наместниками в регионах, а также военными трибуналами, но подобная практика обычно касалась лишь политических дел и была достаточно редка), и неудивительно, что в данном случае они своим правом воспользовались. Их приговор существенно отличался от того, что был вынесен годом ранее Общим присутствием московских судов. Александр Васильевич Сухово-Кобылин «за противозаконное сожитие с Дюманш» был обязан принести церковное покаяние «по распоряжению местного епархиального начальства». Кроме того, Правительствующий Сенат постановил «по предмету принятия участия в убийстве Дюманш» «оставить [Сухово-Кобылина] в подозрении» (фактически этот приговор аналогичен современному освобождению «за недостаточностью улик»). Ефим Егоров и Галактион Кузьмин приговаривались к ссылке «в отдалённые места Сибири», поскольку признавались виновными «в неправильном направлении хода сего дела». Телесные наказания с них были сняты, как и каторжные работы. Наконец, Аграфена Иванова освобождалась от всякой ответственности по делу и возвращалась Сухово-Кобылину.

Осенью 1857 года материалы «дела Симон-Дюманш» были изучены на нескольких общих собраниях департаментов гражданских и духовных дел и законов. Собрания эти проходили под председательством министра юстиции Виктора Никитича Панина. Последний готовился вносить «дело» в Государственный Совет и поэтому хотел обезопасить себя от возможных неприятных открытий. По рассмотрении существа представленных материалов члены собра-

ний разделили точку зрения сенаторов и даже пошли ещё дальше в направлении смягчения наказания Егорова и Кузьмина; они предложили их «от всякой ответственности по предмету убийства Симон-Дюманш оставить свободными».

Сенатское производство (то есть материалы дела) и 65 специально отпечатанных брошюр, содержащих выдержки из важнейших следственных документов, были направлены в Государственный Совет. Там 11 ноября 1857 года состоялось Общее собрание, в котором приняли участие 38 членов Совета, на котором были рассмотрены представленные министерством юстиции материалы. Примечательно, что один из членов Государственного Совета (князь Павел Петрович Гагарин) отказался от обсуждения данного вопроса, поскольку состоял в родственной связи с Сухово-Кобылиным. Большинством голосов (28 против 9) члены Государственного Совета постановили полностью освободить Ефима Егорова и Галактиона Кузьмина от всякой ответственности по «делу об убиении Симон-Дюманш»; в отношении же Сухово-Кобылина постановления Сената были оставлены без изменений.

И уже 9 декабря 1857 года решение Общего собрания Государственного Совета было утверждено Императором Александром Вторым. Фактически, этот день можно считать датой официального окончания «дела Симон-Дюманш».

Итак, каков же итог многолетнего расследования и многочисленных судов, вызванных этим делом? Из четырёх слуг француженки (Егоров, Кузьмин, Алексеева и Иванова), арестованных и первоначально осуждённых за её убийство, одна умерла в тюрьме (Алексеева), а трое других в конечном итоге были признаны полностью невиновными. Официально было признано, что их самооговор явился результатом пыток, которые применялись полицейскими следователями. Полицейские чины, виновные в использовании незаконных методов расследования (Хотинский и Стерлигов), понесли за свои преступления уголовные наказания. Любовник погибшей француженки — писатель и коммерсант Сухово-Кобылин — навлек на себя сильные подозрения в организации убийства Луизы Симон-Дюманш, от которых оправдаться так и не смог до конца жизни. Он был оставлен в подозрении как возможный преступник. Кроме того, Сухово-Кобылин был приговорён к церковному покаянию за свою многолетнюю связь с француженкой, которая, напомним, придерживалась римско-католического вероисповедания (то есть этот приговор осуждал не само сожительство вне брака, а связь с представителем иной конфессии).

На всю оставшуюся жизнь Сухово-Кобылин сохранил ненависть к «судебной бюрократии». Имеются многочисленные воспоминания о том, как Сухово-Кобылин в кругу близких рассказывал о вымогательствах у него «многотысячных взяток» чинами полиции и судебными заседателями. Свою ненависть к чиновникам Сухово-Кобылин ярко выразил в написанных пьесах. Что ж, может это и правда, и Александр Васильевич действительно был жертвой многочисленных и циничных поборов со стороны представителей Закона. Но правда и то, что в «деле Симон-Дюманш» он показал себя закоренелым и беспринципным лгуном, который несмотря на очевидное и неоднократное разоблачение его вранья, так и не признал факта существования известных всей Москве любовных отношений как с Симон-Дюманш, так и Нарышкиной. (Любопытное сравнение, хотя, конечно же, нестрогое: в моём очерке «Ребёнок Линдберга»², описана в чём-то сходная ситуация. Женатый дворецкий состоял в интимной связи с женщиной, которая своим поведением навлекла на себя подозрения полиции. Женщина покончила с собой, и уже после её гибели дворецкий признал факт адюльтера. Сделал он это в силу нескольких причин, в том числе и для того, чтобы смерть женщины не запутывала дальнейшее расследование. От благородного и высокообразованного Сухово-Кобылина подобной честно-

² Имеется в виду очерк «1932 год. Ребёнок Линдберга», опубликованный в сборнике: Ракитин А. И. «Пропавшие без вести. Хроники подлинных уголовных расследований. Книга 2». Сборник издан в октябре 2025 года с использованием книгоиздательской платформы «ридеро» и ныне доступен во всех магазинах электронной книжной торговли.

сти ждать было бы по меньшей мере наивно). Под присягой этот «высородный дворянин» уверял, что не имел с Нарышкиной связи, а в 1883 году удочерил рождённого от этой связи ребенка! Причём ребёнок, рождённый от него Надеждой Ивановной Нарышкиной, получил имя убитой француженки — Луиза. В простое совпадение почему-то слабо верится!

Сухово-Кобылин, и до того слывший «западником», после закрытия «дела Симон-Дюманш» вообще превратился в русофоба. Оно и понятно, Родина так его обидела! Подозрение-то с него ни Государственный Совет, ни Император так и не сняли! А потому с репутацией благородного денди Сухово-Кобылину пришлось распрощаться навек. В течение своей последующей жизни (а умер он 11 марта 1903 года) Александр Васильевич не раз надолго уезжал за границу. Он приобрёл поместье во Франции, в местечке Болье, где и скончался.

Дважды Сухово-Кобылин женился. Сначала 31 августа 1859 года он бракосочетался с французской баронессой Мари де Буглон, которая умерла 26 октября 1860 года от чахотки. А весной 1867 года неунывающий драматург (этакий 50-летний бодрячок!) женился на англичанке Эмили Смит (в некоторых изданиях её ошибочно именуют Стюарт, но настоящая фамилия этой женщины именно Смит). Этот брак тоже оказался весьма недолг: крепкая, пышущая здоровьем англичанка неожиданно подхватила пневмонию и скорпостижно скончалась 27 января 1868 года. Нельзя отделаться от довольно странного ощущения, что своим возлюбленным Сухово-Кобылин приносил одни фатальные несчастья. Кстати сказать, из истории криминалистики хорошо известно, что хроническое отравление минеральными ядами (сурьмой, мышьяком и тому подобными) медиками тех лет зачастую диагностировалось именно как чахотка (туберкулёз). Но это не более чем умозрительное замечание, поскольку никто никогда всерьёз не исследовал гипотезу о возможном отравлении Сухово-Кобылиным своих жён. Французские власти никогда ни в чём не обвиняли русского сатирика, а в «постылую» Россию (власти которой беспокоили его неприятными вопросами и подозрениями) он благоразумно возвращаться не спешил.

Завершая разговор о мрачной истории убийства Луизы Симон-Дюманш, остаётся сообщить, что вокруг этого преступления сложилась своего рода мифология. В 1927 году в Ленинграде вышло довольно любопытное (хотя и с нескрываемой классовой тенденциозностью) исследование Леонида Гроссмана «Преступление Сухово-Кобылина», доказывающее виновность писателя в убийстве. А в 1936 году в Москве Виктор Гроссман издал книгу «Дело Сухово-Кобылина», в которой отстаивал прямо противоположную точку зрения. Для нашей страны, в которой жанр «криминального исследования» до сих пор не сложился, подобное столкновение взглядов — явление исключительное. В этой связи нельзя не упомянуть и о весьма информативной книге «Дело Сухово-Кобылина» (сборник документов под редакцией М. К. Евсеева), напечатанной крохотным тиражом в 2003 году издательством «Новое литературное обозрение».

В развитых странах (и в особенности в США) документальные исследования реальных преступлений образовали целый класс литературы. О «Джеке-Потрошителе», Бостонском душителе или Зодиак написаны сотни более или менее подробных книг, реконструирующих и анализирующих ход расследований. Причём поток подобных публикаций не иссякает, пополняя ежегодно библиографию по этим темам 10—15 новыми книгами. В современной России литературный рынок насаждает в среде читателей редкостное дурновкусие, вбрасывая убогие и наивные поделки под «криминальное чтиво», которые выходят валом из-под перьев таких «специалистов-криминологов», как Маринина или Донцова. Но не подлежит сомнению, что отечественный издательский бизнес повторит путь западного и в конце концов откажется от книжек-однодневок в пользу настоящих серьёзных исследований невыдуманных преступлений. Ведь жизнь богаче любой женской фантазии! Когда это произойдет, без всяких сомнений, мы увидим новые содержательные книги об убийстве Симон-Дюманш. Ведь преступление это

по праву может быть поставлено в ряд интереснейших криминальных загадок отечественной истории.

1866 год. Дело студента Данилова

Утром 14 января 1866 года в помещениях московской ссудной кассы, принадлежавшей господину Попову, были обнаружены тела хозяина и его кухарки Марии Нордман. Погибшие имели множественные ножевые поранения, не оставлявшие никаких сомнений в причине смерти; комнаты были залиты кровью жертв. Касса и жилые комнаты подверглись методичному обыску: шкафы были раскрыты, ящики тумбочек — вытащены, их содержимое — высыпано на пол.

Прибывшим на место трагедии чинам полиции достался обширный фронт работ. Ссудная касса занимала целый флигель во дворе; крутая лестница вела в помещения первого этажа, служившие для приёма клиентов, этажом выше располагались личные комнаты хозяина и кухарки, проживавшей здесь же.

Отставной капитан только разворачивал свою деятельность в Москве. Как установила паспортная проверка, Попов прописался в доме Шелягина за три месяца до гибели — 5 октября 1865 года. Он приехал из Финляндии, где за 23 тысячи рублей продал принадлежавшее ему имение. Вырученные деньги, очевидно, послужили своего рода уставным капиталом открытой кассы. Номера банковских билетов были Поповым предусмотрительно переписаны, список этот полицейским удалось обнаружить. Кроме того, идентичный список был получен из Петербурга, от родственников погибшего. Учитывая, что, помимо средств от продажи имения, Попов имел ещё некоторые сбережения и ценности, общий капитал, которым он располагал к январю 1866 года, составлял (по оценке родных) приблизительно 29 тысяч рублей.

Тщательный осмотр места преступления и анализ собранных улик потребовал от чинов полиции нескольких дней. Но в конечном итоге именно дотошность полицейских на этом, самом первом, этапе следствия послужила залогом их уверенных действий в дальнейшем. Возглавили эту работу приставы Миланов и Врубель.

Прежде всего они обратили внимание на то, что в маленькой комнатке первого этажа, позади кассы, был сервирован стол на двоих. На столе стояла водка и закуска, что подразумевало некое доверительное общение. Тут же были обнаружены и первые капли крови, что наводило на мысль о внезапном нападении на хозяина прямо за столом. Далее следы крови вели в помещение собственно кассы. Там, видимо, последовала ожесточённая борьба — крови было очень много и на полу, и на мебели, даже на стенах. Тут же обнаружили и труп хозяина.

Тело кухарки находилось в небольшой прихожей, у самой входной двери. Женщина получила несколько глубоких ножевых ранений; кровопотеря была очень большой. Но следы крови виднелись не только рядом с телами погибших, а также и на двойной входной двери, на её ручке, щеколде, и даже за дверью. Следы крови вели по лестнице вниз, причём по потёкам можно было предположить, что человек, оставивший эти следы, дважды останавливался, прежде чем вышел на улицу. Этот человек оставил на левой стене несколько неясных отпечатков руки.

Кроме того, кровь была обнаружена и наверху — в комнатке кухарки. Там преступник, очевидно, вымыл руки и вытер их о наволочку и пододеяльник.

Пытаясь реконструировать картину преступления, полицейские предположили, что убийца в ходе борьбы получил ранение и, скорее всего, в левую руку. На это косвенно указывали следы крови по левую сторону лестницы (если идти из кассы на улицу), рассыпанное по полу содержимое ящиков (преступнику было неудобно действовать одной рукой, и он предпочёл вытряхивать вещи и поднимать их с пола), а также обнаружение залитой кровью пятирублевой банкноты. Её внимательный осмотр показал, что это была верхняя купюра из стопки, перехваченной бечёвкой. Убийца, скорее всего, нашёл пачку денег в вещах жертвы при обыске и, неосторожно схватив её пораненной рукой, испачкал верхнюю купюру своей кровью.

Важнейшим заключением медицинской экспертизы явилось указание на то, что орудием убийства и Попова, и Нордман служил один и тот же нож. Это могло означать только то, что напал один человек.

Привлекли внимание полицейских и часы, остановившиеся в 6 часов 43 минуты. Приглашённый часовой мастер сообщил, что механизм часов вполне работоспособен, но имеет скрытый дефект, приводящий к остановке часов при резком толчке. Простая демонстрация убедила в правильности этого заключения.

Благодаря такому редкому стечению обстоятельств следствие установило час и минуту того толчка, после которого хозяин уже не смог завести свои часы. Оставалось выяснить день.

Календарь в помещении кассы показывал 12 января. В этот же день Мария Нордман последний раз взяла воду у водовоза. Наконец, 12 января, около семи часов вечера её видели в аптеке Кронгельма. Таким образом, в момент нападения на хозяина кассы (то есть в 18:43 12 января 1866 года) кухарка находилась в другом месте и была убита позже; этот вывод укрепил уверенность полицейских в том, что убийца действовал в одиночку.

Рабочая версия полицейских свелась к следующему: убийцей был человек, знакомый Попову, видимо, его клиент (так как близких друзей в Москве убитый завести не успел), который совершил убийство из корыстных побуждений; в ходе борьбы с жертвой преступник был ранен, предположительно в левую руку.

Был внимательно изучен архив отставного капитана: письма, деловые записи, журналы учёта залоговых ценностей и прочее. Из переписки Попова с родными стало ясно, что человеком он был домовитым и рачительным, имел интересы весьма разносторонние — по переезду в Москву немедленно записался в библиотеку, посещал театры, покупал свежие газеты, то есть старался пользоваться всеми теми благами, которые предоставляла жизнь в крупном городе.

Ценные бумаги и наличные деньги отставного капитана пропали, но вещи, заложенные в его кассе, были убийцей не тронуты. Это характеризовало преступника как человека, несомненно, умного и расчётливого, который хорошо понимал, что попытка реализации чужих вещей многократно увеличит вероятность его разоблачения.

Следует напомнить, что это преступление произошло в то время, когда не существовало дактилоскопии; когда даже не было понятия о группах человеческой крови и тем более методов идентификации людей по их крови; когда система паспортного режима и полицейского учёта населения только формировалась, и паспорт содержал словесный портрет своего хозяина самого общего содержания. Главным оружием сыщика того времени были его опыт и смекалка.

Московская полиция объявила через газеты об обратном выкупе клиентами Попова своих вещей. Сделано это было не только в интересах наследников и из соображений справедливости, а ещё и потому, что здравый смысл подсказывал полицейским — убийцы среди пришедших за своими вещами не будет. В самом деле, убийца, если только он и в самом деле являлся клиентом Попова, должен был забрать свой залог прямо с места преступления. Заявлением о возможности обратного выкупа полицейские рассчитывали резко сократить объём и время проверки клиентов кассы Попова.

В течение самого короткого времени все обнаруженные в кассе вещи вернулись к явившимся за ними хозяевам, чьи паспорта и адреса проживания были негласно проверены.

Из клиентов ссудной кассы остались не установлены два лица — некто зарегистрировавшийся под странной фамилией Старый-Леонтьев, и некий Григорьев. Первый из них сдавал вещи в залог и к 12 января 1866 года выкупил их, закончив таким образом деловые отношения с погибшим ростовщиком. Проверка через паспортный стол показала, что человека с двойной фамилией Старый-Леонтьев среди жителей города не было и нет. Можно было предположить, что этот человек либо проживает в другом месте и появляется в Москве наездами, либо каким-то образом уклоняется от регистрации.

Надо пояснить, что паспортная служба работала при самодержавии несколько иначе, чем современная нам. Человек, сменивший место жительства (переехавший из района в район, поселившийся в гостинице и прочее), сдавал свой паспорт дворнику. Тот в течение суток должен был снести его в околоток, где паспортные данные переписывались, а сам паспорт — возвращался. Из низовых полицейских подразделений данные шли наверх — в городской стол, который, собственно, и занимался регистрацией и учётом жителей.

Вторым клиентом, никак не заявившем о себе, был человек по фамилии Григорьев. Из бумаг Попова полицейские знали, что этот человек заложил за 750 рублей кольцо, осыпанное бриллиантами, облигацию государственного внутреннего выигрышного займа №098289 и золотые серьги. И если последние были выкуплены, то кольцо и облигация — нет. Однако они не были обнаружены полицией при исследовании места преступления.

Таким образом, с высокой долей вероятности можно было предположить, что убийцей Попова мог быть не явившийся в полицию Григорьев.

По записям адресов, которые вёл Попов, полиция проверила адрес, названный закладчику Григорьевым: на Покровке, в приходе Воскресения в Барашах, в доме Лукина. По указанному адресу Григорьев не проживал. Более того, Григорьевых указанного года рождения и сословной принадлежности в Москве не было вообще.

Среди множества бумаг, найденных на месте преступления, пристав Врубель обратил внимание на две карандашные записки, подписанные всё той же фамилией «Григорьев». Они указывали на деловые и одновременно доверительные отношения писавшего их с Поповым; в частности, в одной из записок Григорьев рассказывал о своей поездке в Тулу.

Полицейские занялись сплошной проверкой бумаг погибшего. Поскольку круг общения Попова был довольно узок, внимание сыщиков привлёк ювелир Феллер, которому Попов написал письмо, да так и не успел отправить. Ювелир был хорошо известен в Москве, он содержал ювелирный магазин и иногда выступал как оценщик драгоценностей при залоговых операциях; репутацию имел самую хорошую.

Когда с Феллером заговорили о ростовщике Попове, он тут же вспомнил, как в середине декабря 1865 года к нему обратился молодой человек, просивший произвести «удобную» (то есть подороже) оценку перстня в присутствии ростовщика, в залог которому этот перстень должен был пойти. Перстень был хорош, и Феллер не покривил душой, когда 17 декабря 1865 года в присутствии Попова определил его закладную цену в 750 рублей. Ювелир не смог сразу назвать фамилию молодого человека, приведшего к нему в магазин держателя ссудной кассы Попова, но на третий день всё-таки вспомнил её: Всеволожский. А один из приказчиков Феллера — Шохин — даже вызвался опознать его. Подозрения в отношении предприимчивого молодого человека, называвшего себя то Григорьевым, то Всеволожским, крепили. Надо сказать, что в монархической России «именование себя не принадлежащими фамилиями» уже образовывало состав преступления. Этим сословное общество защищало себя от появления бесчисленного количества однофамильцев именитых граждан.

Следствие отдавало себе отчёт в том, что разыскиваемый Григорьев-Всеволожский мог скрыться из Москвы. Ориентировки, составленные по описаниям служащих магазина Феллера, разошлись по всем железнодорожным станциям вплоть до Варшавы. Задержанию подлежали все лица, подходящие под словесный портрет и имеющие свежее поранение левой руки. Фотографии подозреваемых десятками хлынули в Москву. Все они предъявлялись для опознания приказчикам ювелирного магазина. Наконец, в изображённом на одной из фотографий молодом человеке приказчики Шохин, Ильин и сам Феллер опознали человека, приводившего в магазин погибшего Попова.

Опознанный имел фамилию Кошин, рану левой руки объяснял случайным порезом в трактире. О задержании Врубелем было доложено обер-полицмейстеру Москвы. Расследова-

ние кровавого убийства, казалось, шло к эффектному разоблачению и не менее эффектному этапированию обвиняемого в Москву.

Но, как быстро выяснилось, эйфория оказалась преждевременна. Кошин имел полное алиби. Подозреваемый был выпущен на свободу с извинениями.

Заканчивался март 1866 года. С момента совершения преступления минуло более двух месяцев: ни один из украденных с места преступления банковских билетов не был предъявлен за это время, никаких видимых подвижек в деле не происходило. Становилась очевидна тщета всех усилий полиции. Требовалось некое неординарное решение.

Такое решение подсказал опыт московских сыскарей. Последний день марта был Светлым воскресеньем. Дни больших православных праздников всегда вызывали в дореволюционной Москве массовые народные гулянья. Полицейские предположили, что если преступник находится в городе, он непременно выйдет на улицу — минувшие с момента преступления месяцы должны были притупить его осторожность.

И 31 марта 1866 года все московские полицейские были на улицах. Вместе с ними на самые людные площади и перекрёстки вышли приказчики из магазина Феллера. Один из них — упоминавшийся уже Шохин — опознал неизвестного молодого человека, скрывавшегося под вымышленными фамилиями «Григорьев» и «Всеволожский».

За ним проследили, и каково же было удивление сыщиков, когда неизвестный привёл филёров по адресу из конторской книги убитого Попова: Покровка, приход Воскресения, дом Лукина. Полицейские уже здесь бывали, только искали они тогда «Григорьева».

Немедленно установили личность молодого человека. Им оказался Алексей Михайлович Данилов, сын коллежского асессора, студент второго курса юридического факультета Московского университета. Его арестовали 1 апреля 1866 года.

Данилов заявил о полной своей невиновности; он твердил, что никогда не знал ни Феллера, ни Попова. Но присутствовавший при аресте и обыске квартиры приказчик Шохин даже опознал пальто, в котором студент Данилов являлся в ювелирный магазин.

Когда Врубель вывернул пальто наизнанку, на подкладке левого рукава оказались хорошо различимые следы крови. Данилова попросили показать левую руку. Он показал: предплечье и ладонь имели следы глубоких, но уже подживших ран. На вопросы о происхождении этих ран и времени их получения студент не моргнув глазом ответил, что ладонь поранил, падая с лошади, а предплечье прижёл утюгом. Стало ясно, что на добровольное признание рассчитывать не приходится.

На следующий день проводится очная ставка Данилова с ювелиром Феллером. Данилов, разумеется, узнан; отрицать знакомство и далее становится уже не бессмысленно, а просто глупо. Поэтому Данилов резко меняет тактику: он замолкает.

И молчит: день, два, три...

Впрочем, с людьми, приходящими к нему в тюрьму на свидания, у него начинаются самые напряжённые переговоры. А приходят к нему родители, сестра, товарищи по университету. Свидания происходят в присутствии чинов полиции; обвиняемый предупреждён, что под угрозой запрета свиданий он не должен говорить об обстоятельствах расследования. Впрочем, следователь Врубель прекрасно понимает, что этот хитрый и самодовольный человек постарается непременно полицейский запрет обойти. Поэтому надзиратели, контролирующие свидания, получили указание запоминать все имена, клички, названия объектов, в каком бы контексте они не звучали.

И в который уже раз следует признать, что следователь Врубель «просчитал» действия своего оппонента наперёд. После первого же свидания обвиняемого с матерью надзиратель сообщил, что в подслушанном разговоре упоминалось слово «рамых», значение которого он, правда, не смог понять.

Но что значило это слово, прекрасно понял Врубель. «Рамих» — это была фамилия крупного московского ростовщика. Следствие обратилось к этому человеку за информацией. Оказалось, что Рамих не знает ни Григорьева, ни Всеволожского, ни студента Данилова. Зато он прекрасно знает господина Новосильцева, своего старого, аж с 1864 года, клиента. В декабре 1865 года этот молодой симпатичный человек приносил на оценку перстень, осыпанный бриллиантами, и тогда же заложил в ссудной кассе господина Рамиха билет облигационного внутреннего займа №098289. 8 января 1866 года господин Новосильцев выкупил этот билет.

Дальнейшую судьбу облигационного билета следствие уже знало. Через три дня — 11 января 1866 года — он был заложен в кассе Попова. И на следующий день исчез при ограблении последнего.

Сейчас любой может поставить себя на место следователя и подумать над вопросом: что следовало предпринять дальше?

Врубель знал, что при обыске квартиры Данилова облигационный билет найден не был. Поэтому следует простая, но сокрушительная по своему конечному результату команда: проверить все ссудные кассы города Москвы с целью отыскать билет указанного номера.

Его находят в ссудной кассе господина Юнкера. Облигационный билет был заложен 15 января 1866 года Даниловым под собственной фамилией.

Параллельно с этими в высшей степени любопытными событиями происходят и другие, весьма немаловажные для дальнейшей судьбы арестанта.

После свидания с Алексеем Даниловым к следователю обратился некто Должиков, товарищ обвиняемого по Университету. Он предъявил записку, полученную тайно от Данилова, в которой тот просил организовать ему алиби на 12 января 1866 года. Для этого он предлагал переговорить с неким Малышевым и студенткой Шваллингер и убедить их подтвердить факт присутствия Данилова дома всю вторую половину дня 12 января. Как честный человек Должиков не счёл для себя возможным участвовать в обмане правосудия.

Следствие протоколирует показания Малышева и Шваллингер, не подтверждающих алиби Алексея Данилова. После их приобщения к делу следует процедура официального опознания обвиняемого держателем ссудной кассы Юнкером.

И лишь затем начинается новый обстоятельный допрос, из которого Данилов понимает, что путь облигации №098289 следствием полностью установлен, знакомство его с убитым Поповым не вызывает никаких сомнений и может быть с очевидностью доказано в суде, а алиби на 12 января он — Алексей Данилов — создать себе уже не сумеет.

После минутных раздумий обвиняемый начинает говорить. То, что он наговорил, фигурировало на суде под условным названием «признания от 6 апреля 1866 года».

В изложении Алексея Данилова события выглядели так: мать девушки, за которой он ухаживал — некая госпожа Соковнина — попросила его в начале декабря 1865 года заложить в ломбарде перстень с бриллиантами и облигационный билет №098289. Даме самой не следовало по этическим соображениям входить в меркантильные расчёты с ростовщиками, а вот доверенный молодой человек мог найти наилучшие условия залога в целой Москве. В целях поддержания репутации госпожи Соковниной, а также в силу предубеждённого отношения к ней родителей обвиняемого он никому не говорил о её поручении и действовал с наивозможной предусмотрительностью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.